

Жизнь на старой римской дороге

Ваан Тотовенц

Мать вышла в хлев подоить корову и долго не возвращалась.

— Куда делась невестка? — спросила моя тетушка. Побежали в хлев. Видят

— сидит моя мать подле коровы, а на руках у нее синеглазый ребенок.

Это был я.

* * *

Мать стояла на крыше, прижав меня к груди, и звала:

— Баба-Луна, баба-Луна, приди, забери этого шалуна...

Я взглянул туда, куда смотрела мать, и увидел луну в фиолетовых сумерках, сидящую на темно-синей горе. Луна была удивительно большая! С тех пор я никогда больше не видел такой луны. Радуюсь ее огненному блеску, я одной рукой ухватился за волосы матери и подался вперед, чтобы быть ближе к луне, а другой сам стал манить ее. Мать взглянула на меня и вдруг еще крепче прижала к груди, еще ласковее. И хотя я потерял луну, мне было бесконечно приятно в объятиях матери...

Впервые окружающий мир — бескрайняя изумрудная даль, окаймленная цепью синих гор. — открылся мне с такой высоты. Сидя на руках у матери, цепко держась за ее волосы, я хотел улететь в ту изумрудную долину; мне казалось, отпусти меня она, и я улечу далеко-далеко.

На соседней крыше показалась какая-то женщина, перекрестилась, глядя на полную луну, и, обернувшись к нам, сказала:

— На воздух вынесла ребенка?

— Да...

— Как он у тебя поправился! Не сглазить бы...

Мать нежно ущипнула меня.

Я не слышал их больше, — меня захватила бескрайняя даль. Далеко в поле я видел устремленные ввысь минареты и тополя в сиреневых сумерках. С крыши видны были дома; я впервые увидел наш дом. До сих пор меня

выносили только на улицу или подносили к окну; здание напротив мне было уже знакомо, я хорошо запомнил его, а нашего дома я никогда не видел со стороны, и как он выглядел, не знал. Когда же мать прошла на другой конец крыши, мне открылся вид на наш сад: бассейн казался малюсеньким, кусты и даже большие деревья — крохотными, Гого, поливавший цветы, — карликом. В лиловом тумане сумерек носились ласточки, тысячи ласточек. С пронзительным криком они проносились низко над землей, так низко, что, казалось, вот-вот заденут меня крылом. А когда я начинал следить за какой-нибудь из них, хотел представить линию ее полета, — неожиданно и замысловато линия спутывалась в клубок.

Я долго резвился на руках матери, потом, утомившись, обвил руками ее шею, и голова моя устало склонилась к ней на грудь. Я проснулся, когда было уже утро. Сияло солнце. Мать еще спала. Я поднялся, подошел, прижался к ней. Не открывая глаз, она одной рукой крепко обняла меня.

1

Отец мой был помещиком и важным должностным лицом в провинции.

Но начатъ я должен с его смерти.

К смерти он приготовился так, как жених готовится к свадьбе. Еще за месяц до этого (тогда он еще был на ногах и чувствовал себя довольно бодро, но знал, что смерть подбирается к нему) он позвал плотника и вместе с ним отобрал длинные ореховые доски.

— Эта не пойдет, — сказал отец и, отбросив сучковатую доску в сторону, заменил ее другой.

Затем он вытянулся на полу, на персидском кирманшахском ковре, и плотник снял с него мерку.

— Высокий ты у нас, хаджи-эфенди, как чинара, — заметил плотник.

Отец безучастно улыбнулся.

И в присутствии отца, строго следуя его советам и указаниям, плотник сколотил гроб.

Уединившись в одной из комнат, горько плакала мать, а в это время плотник перебрасывался с отцом шутками, рассказывал смешные истории и, частенько пропуская стопку водки, отмерял ореховые доски, пилил, строгал, сгибал и полировал их.

— Уста Маркар, чтоб ни единого гвоздя!

— Будет по-твоему, хаджи-эфенди.

А я, ничего не подозревая, с любопытством наблюдал за работой уста Маркара. Я думал, что отец снова собирается в путешествие, в Стамбул или другой далекий город, откуда наверняка привезет мне гостинцев — он всегда привозил мне гору подарков.

Гроб уста Маркар смастерил на славу, не хуже, чем сделал бы стол или шкаф.

— Скажу вам, хаджи-эфенди, этак лет двадцать тому назад... — И уста Маркар рассказывал очередную историю, смеялся и полировал доски.

Но когда отец попросил выйти всех домашних из комнаты, чтобы в последний раз лечь в гроб и проверить, так ли он сделан, как надо, — даже уста Маркар не выдержал и в ужасе прошептал:

— Господи всемогущий, ну и сердце у этого человека!

На дворе все плакали, разделяя горе моей матери. Заплакал и я.

Мне сказали — отец скоро умрет... Страх обуял меня и, возрастая с каждым часом, к вечеру овладел всем моим существом.

Я стал бояться всего в доме — открытых дверей в сарае, колодца, сундука под лестницей, куда мы прятались во время игр.

Когда отец открыл дверь, я один подошел к нему.

Я обнял его, уткнулся головой ему в грудь и глубоко вдохнул запах его рубахи.

Запах этот успокоил меня, рассеял страх.

Отец тоже обнял меня. Я заглянул ему в глаза и увидел в них слезы.

Материнские слезы мне были знакомы, но отцовские...

— Сынок мой, синеглазое дитя, — прошептал он и расцеловал меня.

Один за другим все вошли в комнату и окружили отца. Он сидел на своей постели, обняв меня. Отец поднял голову, посмотрел на вошедших и, увидя опухшие от слез глаза, вскипел:

— Что выстроились? Уходите! Все удалились.

Слуга взвалил на спину гроб и вынес его. Мрачный и грустный, отец склонился надо мной. Вскоре пришел уста Маркар.

Отец похвалил его за работу, заплатил ему и поднес водки. Уста Маркар поднял стопку:

— Благодарен, хаджи-эфенди. За ваше здоро... — и смолк, будто онемев. Рука его так и повисла в воздухе.

— Ладно, пей! — сказал отец и усмехнулся.

* * *

Спустя два дня я зашел в сарай.

У стены стояло что-то длинное, завернутое в белое покрывало. Я поднял покрывало. Это был гроб. В ужасе я выбежал из сарая.

Навстречу шла мать. Заглянув мне в глаза, она тут же закрыла их своими руками, потом крепко прижала меня к груди. Кто знает, что прочла она в моих глазах?

Я дрожал всем телом, словно меня голым выгнали на мороз.

Мать ни о чем не спрашивала. Догадалась, наверно, чего я испугался...

Обычно отец уезжал на службу на рослом белом осле. Осел шел иноходью. Седло его было украшено серебряными звездочками и бирюзой. Проносясь по улице, он высекал подковами искры. Слуга бежал следом, не переводя дыхания, чтобы успеть подхватить одной рукой узду, а другой стремя, когда отец прибудет на место. Потом слуга приводил осла домой на поводу, не смея сесть на него (это никому не разрешалось), а вечером отводил его за отцом. И так каждый день.

Лошадь у нас держали на случай, если приходил кто-либо из родственников или друзей и говорил: «Кланяемся вам и просим одолжить осла». Им давали

лошадь. Отец не любил, когда на осла садились другие. Да и сам осел никому, кроме отца, не позволил бы этого.

Незадолго до возвращения отца весь дом приходил в движение: каждый в семье был занят делом — чистил, подметал, складывал, передвигал. В доме все должно было быть в порядке: обувь аккуратно сложена, двери кладовых закрыты, цветы в саду политы, дети причесаны, всем надлежало сменить одежду, кружке — стоять возле кувшина с водой, и, не дай бог, ручкой к стене, венику — в своем углу, а гвоздю на вешалке быть незанятым.

Отец сходил с осла у ворот. На минуту задерживался, чтобы все увидели, что он вернулся.

Впрочем, в этом не было никакой необходимости: осел, едва свернув на нашу улицу, начинал реветь, возвещая о прибытии хозяина...

Мать встречала отца во дворе, и они вместе поднимались наверх. Никто из нас не смел подойти к нему. Он сам подзывал каждого, целовал и отсылал на место.

* * *

По воскресным дням отец уезжал в поместье. Сидя на краю мраморного бассейна, он пил и закусывал присланной из дому снедью. Ужин обычно был рассчитан на десятерых — на случай, если придут гости.

Возвращался он в полночь.

Но даже тогда, когда отец задерживался, мать все равно дожидалась его и уходила к себе только после того, как перекинется с ним двумя-тремя словами. Детство мое прошло здесь, возле этого бассейна, окаймленного мрамором, пролетело на белоснежных голубиных крыльях.

Ночью в дрожащей глубине бассейна светились бесчисленные звезды, днем плескалось солнце, как бы ища спасения в ее прохладе.

Во тьме белое дно бассейна отливало синевой, отражая звезды, мириады звезд... Тишина кругом, невозмутимая тишина. Клонились ивы к воде, шелестели листья. Падающая вдруг с неба звезда отражалась в воде и гасла. Синева, подобно слезам лани, струилась с неба капля за каплей; и нечто

непостижимое, трепетное, неведомо где берущее начало, растекалось, разливалось по вселенной.

А наутро — плоды, множество плодов кричало ярким цветом; в зеленой густоте травы жарко багровели маки; склоны гор пылали, окрашенные кровью солнца, и где-то высоко в объятиях этих гор — бирюзовое, чистое озеро блестело, как ясные девичьи очи.

Красные, золотистые и черные гроздья сверкали, жадно вбирая в себя тепло, сияние и сладость солнца. Казалось, само солнце сгустилось и разбрызгалось капельками, а каждая капелька округлилась, застыла виноградиной.

Осеннее поместье задыхалось от даров земли. Природа готова была лопнуть от бешенства своих страстей, плоды низвергались, как быстрые потоки горной реки, наполнились давящими, и молодое вино лилось в карасы могучей и слитной песней земли и солнца.

И мне тоже хотелось петь звонко, солнечно, во весь голос.

Осенью отец ездил в Стамбул. Поговаривали — приворожила его там какая-то женщина.

Но об этом после, когда начну рассказ о матери.

* * *

Обедаем молча.

Молчание было жесточайшим правилом — ни смеха, ни единого слова, — так требовал отец.

Мать, напротив, любила, когда за обедом вели оживленный разговор, шутили, смеялись (так мы обедали, когда отца не было дома), но в его присутствии она сама призывала нас к порядку.

«Смех и разговоры до и после, но ни в коем случае не во время обеда», — такова была воля отца.

Не раз пытались мы нарушить этот порядок, но отец всегда сердито осекал:

— А ну, замолчи!..

* * *

Два раза в году отец облачался в мундир да и то чертыхаясь, потому что в мундире сидеть на осле было крайне неудобно. Черный сюртук с высоким расшитым воротником, застегнутый на все пуговицы, украшали золотые эполеты с бахромой. На грудь с правого плеча влево спускалась широкая зеленая лента. В мундире отец выезжал на «правительственный смотр», и когда возвращался домой, тут же сбрасывал его, кряхтя: «Оф, оф, оф, избавился...»

В такой день, в день «правительственного смотра», во всем доме царила тишина, торжественное спокойствие. Мощный дворик, тщательно подметенный, тускло отражал тени проходящих по нему людей, ворота дома украшали турецкие флаги с полумесяцем, парадная дверь была убрана зелеными ветками вербы и ночью освещалась разноцветными фонарями.

* * *

Летом отец проводил долгие часы в саду, возле колодца, у большого куста розы.

С утра в колодец опускали небольшую корзину с бутылкой водки, зеленью и фруктами. С приходом отца корзину поднимали. Ее содержимое мать раскладывала на низком столике, у куста розы.

Одна из моих сестер снимала с отца обувь и подавала легкие домашние чувяки. Иногда отец поднимался, подходил к кусту, нагибался к ветке и долго вдыхал аромат большой темно-красной розы.

И над всем этим раскололся голубой небосвод, рухнул, как бирюзовый купол старинного храма от землетрясения.

* * *

В новогоднюю ночь, когда мы, дети, ждали Деда-Мороза с рождественскими подарками, в нашу дверь постучалась смерть. Взяла отца за руку, и они, мой отец и смерть, вышли из дому...

Ушли и не вернулись.

Я думаю, на свете было всего двое христиан: сам Христос — еврей, и моя мать — армянка.

Читала она только одну книгу — Библию. Мысли ее заняты были лишь одним — как лучше выполнять Христовы заповеди. Она садилась за один стол с нищими, занималась благотворительностью так, чтобы никто не знал об этом, и... молилась.

Она была покорной, и покорность ее была естественной.

Эта женщина готова была выполнить любое желание мужа, даже ценой преступления. Пусть люди презирают ее, чернят, она все смиренно сносила — так учила Библия.

Вместе с тем мать моя, как это ни удивительно, была человеком твердых убеждений, которыми редко когда поступалась.

Отец требовал, чтобы мать держалась как ханум, восседала на подушках, не вмешивалась в хозяйство и, главное, не приглашала в дом священника. Отец физически не выносил служителей церкви.

Мать никогда открыто не возражала ему, однако молча, с удивительным упорством сопротивлялась этим барским замашкам мужа.

Она тайком от отца, взяв с нас слово не выдавать ее, помогала прачке стирать белье, подметала, мыла полы вместе со служанками, выбивала пыль, варила обед, разводила огонь — и делала, в конечном счете, все, что делает любая женщина в провинции.

Она не могла жить без всего этого.

А когда осел подходил к дому — все становилось на свое место. Мать и все в доме наряжались так, словно собирались на свадьбу.

И все же это плебейское отступничество матери не ускользало от внимательных глаз отца.

— Опять? — сердился он.

Мать смиренно улыбалась, брала его руку, прижимала к щеке и молчала.

Молчал и отец, обезоруженный ее покорностью, но где-то в глубине души у него вскипал гнев. Он поднимался к себе и долго, долго ходил по комнате...

Оба были упрямы.

Отец был убежденный аристократ.

Мать — убежденная демократка.

До конца дней своих отец так и не примирился с демократизмом матери, а мать — с его аристократизмом.

* * *

Мать знала, что у отца в Стамбуле есть женщина. Но относилась к этому спокойно, и отнюдь не от безразличия к мужу, а скорее от большой любви. Любя мужа, она прощала ему и его грехи.

— Он ведь мужчина, — говорила мать, — мужское сердце не знает покоя...

Помнится — это было после смерти отца, — когда мой старший брат пустился в путешествие по черноморским торговым городам, мать вручила ему узел с богатыми подарками для стамбульской женщины. И еще помню, что, вручая узел брату, мать прослезилась. Она хотела, чтобы женщина из Стамбула была так же почитаема в доме, как и все, что связано с памятью об отце.

В Стамбуле узел с подарками был принят тоже со слезами: о смерти отца его стамбульская возлюбленная впервые услышала от моего старшего брата.

Две женщины убивались по одному мужчине, который наполнил их души нежной и мучительной любовью. Брат рассказывал, как он навестил ее, как она узнала его сразу, обняла, поцеловала и заплакала.

— Она высокая, стройная женщина, с длинными волосами, греческим носом, светло-карими глазами и черной родинкой на шее, — рассказывал он.

Мать восторженно внимала каждому его слову и плакала.

— Бедняжка, сиротой осталась, — говорила она сквозь слезы.

И по сей день не могу постичь всей глубины ее любви. У меня кружится голова и замирает сердце, когда я пытаюсь заглянуть в эту бездну...

Моя мать не была образованной женщиной, ее учение дальше Библии не пошло, но великая сила любви подняла ее до высот безграничной душевной цельности.

Если женщина любит, она может взвалить на себя тяжесть целой горы.

* * *

Как я уже говорил, огромное удовольствие доставляло матери по вечерам, а по воскресеньям и днем, сидеть в углу комнаты, поджав под себя ноги, и читать Библию; сперва за упокой души отца, а потом — и за моих братьев-пандухтов

— Эту главу — моему Геворку... — говорила она, переворачивая страницу. Не успевала она прочесть и строки, как ясные глаза ее наполнялись слезами. Закончив одну главу, начинала другую:

— А это — моему Левону...

После чтения мать долго молча молилась.

На все вопросы о тех или иных святых или событиях, описанных в Библии, она отвечала подробно и с удовольствием.

Как-то лежал я на тахте и дремал. Мать сидела за шитьем, старшая невестка читала вслух Библию.

Вдруг, прервав чтение, она обернулась к матери и сказала:

— Мама, я хочу спросить... В Библии написано, что змий обманул Еву, и она, по его совету, съела яблоко, потом дала его Адаму, и бог наказал их обоих — изгнал из рая...

— Ты что? — прервала ее мать. — Тише, ребенок услышит..

Тут я проснулся. А мать была уверена, что я сплю, и тихо стала рассказывать о змие.

— Милая моя, у тебя уже двое детей, а ты наивна, как ребенок, — начала она. — Знаешь ли ты, почему к женщине относятся с презрением, а в церкви не разрешают входить в алтарь?.. Женщина — существо греховное. Грехи — они от женщин больше. Я расскажу тебе эту историю, только ты никому ни слова... Ева зачала до замужества. Она не захотела ждать и пошла к Адаму, на его ложе. Не понравилось это богу, ибо не давал он на то своего благословения. Разгневался, проклял их и выгнал из рая. Змий — огонь, сидящий в женщине. Где ты видела, чтобы мужчина лез к женщине так просто, без ее желания?.. Ослепнуть бы Еве, согрешила до замужества, ввергла нас в эту беду. Могла бы

и потерпеть, пока бог даст свое благословение, и тогда — лезь к мужу в постель, тем более, что других женщин нет, — одна Ева да один Адам на всем белом свете.

— О-й! — воскликнула невестка.

— Между нами говоря, Ева была бессовестной женщиной, — заключила мать.

* * *

Добрая моя мама! Никогда не забуду сколько беспокойства я причинил тебе однажды.

Было лето. Спасаясь от зноя, я спустился в подвал и лег на холодный пол. Не помню, сколько я спал, услышал только — кто-то спускается вниз. Открыл глаза. И вдруг спускавшийся, пронзительно вскрикнув, распластался на полу. Я тут же вскочил. На шум сбежались домочадцы.

На полу лежала моя мать. Мы подняли ее, отнесли в спальню. Нам с трудом удалось привести ее в чувство. На ней лица не было. Она испуганно смотрела на нас, переводя взгляд с одного на другого: искала отца. Старший мой брат бросился к ней (он был всего на тринадцать лет моложе матери), обнял ее и спросил:

— Что случилось?

— В подвале черт, — прошептала мать.

Брат как-то странно вздрогнул. Подумал, видимо, что с матерью что-то стряслось. Уж не помешалась ли?.. Но я сразу догадался, в чем дело, подошел к матери, положил голову ей на грудь и сказал:

— В подвале был я... а не черт...

Брат хотел наказать меня, но она не разрешила. Когда мать пришла в себя, на ее губах расцвела улыбка, она обняла меня и сказала:

— Глаза у тебя, как у чертенка.

* * *

Моя мать была здоровая, энергичная и красивая женщина.

Думая о ней, я каждый раз вспоминаю кипарис в нашем саду. Она была чем-то похожа на него.

Без особых усилий поднимала она корыто с водой, легко сливала воду. И никого не звала на помощь, когда передвигала огромный стол или другие тяжелые вещи.

И все это делала так просто, словно в руках у нее было что-то невесомое.

Лишь за полчаса до родов она оставляла работу. Выражение боли, едва появившись на лице, сменялось спокойной тихой улыбкой, она уединялась — и... рождался кто-либо из нас. Рассказывали, будто один или двое из нас начали кричать чуть ли не в утробе матери: здоровые, крепкие рождались малыши.

Молока у моей матери было много. Женщины, у которых не хватало молока, иногда приносили ей своих младенцев кормить грудью.

Как сейчас помню: было мне три, может, и все четыре года, а я забирался на колени к матери и припадал губами к ее теплым соскам. Мать придерживала грудь, чтобы я дышал спокойно, чтобы, не дай бог, не задохнулся... И я пыхтел и сопел от удовольствия, наливаясь теплым, густым молоком...

Мать, помню твою радость, твое счастье, когда я и мои братья пили твое молоко, пили из солнечных глубин твоего тела!

Мать — это вечно живая, вечно молодая песнь. Тяжелое чувство гнетет меня сейчас, когда вспоминаю слезы матери, пролитые из-за меня.

Хочу, чтобы кто-нибудь жестоко наказал меня за все мои проступки, иначе душа моя не обретет покоя, не утихнет вечная скорбь в моем осиротелом сердце.

Расправив огромные крылья, опускается багровый закат на чело мое.

Причитают ветры. Холодно на белом свете. Не открывайте дверей...

Но мать улыбается мне вместе с солнцем, выплывающим из-за синих гор. Я вижу ее косы, вплетенные в солнечные лучи, слышу голос ее.

«Отдай мне, сын мой, свою тоску, ликуй, весна моей жизни; резвись на зеленых просторах полей, мой быстрый олененок; лети над пенистыми гребнями волн, мир приветлив, сын мой, стройное деревце мое, любовь моя..»

И встает великое утро, и золотит своими крыльями мрачные берега души моей.

Солнце доносит до меня голос матери.

Само солнце — мать, светлоокая и златовласая.

И льется на зеленый мир звонкая песня солнца.

И во всех цветках бьется, трепещет горячее сердце моей матери.

Пью запах роз, густой, как ее молоко.

И снова спускается ночь, прохладная, тихая, звездная ночь.

И мать уходит. Уходит вместе с солнцем. Жду утра. Жду, когда мать снова позовет меня песней солнечной свирели.

3

Здесь я обязательно должен поведать вам о своем деду по материнской линии.

Строгий и чопорный, дед мой был прямой противоположностью матери.

Ругался со всеми подряд, мог лет на сорок затаить злобу даже на близкого человека. Всех называл лентяями, а сам был бездельником, каких бог не видывал. Промотал все отцовское состояние, влез в какую-то нелепую тяжбу, разорился на адвокатах — лишь бы настоять на своем, а оставшись без гроша, стал жить за счет сыновей.

По утрам, если он собирался на базар, записывал на папиросной бумаге все, что должен купить. Обычно в список входили три или четыре покупки: две охи сахара, двадцать пять дремов имбиря, бутылка уксуса и хлеб.

— Говорят, я ничего не делаю. А это что, не работа? — покрикивал он, тыча всем под нос листок папиросной бумаги.

Сесть на лошадь, съездить в сады и вернуться — это он также считал работой, потому что успевал, очевидно, поругаться со сторожем. Пойти в церковь, помолиться и обругать попа — тоже называлось у него работой, ну а если при этом удавалось еще с кем-нибудь поскандалить, то и подавно.

Родных, знакомых, вообще никого дед мой не называл по именам. «Пес, Хрыч, Черная кошка, Лисий хвост, Чертов нос, Отвислая челюсть, Кривой» — вот неполный перечень придуманных им кличек. К примеру, меня он называл не иначе, как «Наш цепной пес».

Во время службы, если священник замечал, что хаджи Аракел-ага в церкви, — молитвы читались полностью, ибо дед мой, он же хаджи Аракел-ага, незамедлительно прочитывал довольно громким голосом опущенный текст. Как-то раз священник сократил одну из молитв, когда хаджи Аракел-ага был в церкви. Дед дочитал молитву, чем крепко досадил священнику, мечтавшему в этот день закончить службу пораньше. Но на этом дело не кончилось, он подождал, пока священник вышел из церкви, и обругал его:

— Не будь ты служителем божьим, намял бы я тебе бока, сукин ты сын!

Вернувшись домой из церкви, он по очереди подзывал к себе каждого из нас и, чтобы проверить, кто ел перед обедней, требовал:

— А ну, дыхни.

Мы раскрывали рты, и тот, кто, не дождавшись конца обедни, взял что-нибудь в рот, получал пощечину.

Капусту мы ели свежую. Она была сладкая, и ее подавали на стол вместе с фруктами.

Однажды слуга принес с базара большой кочан капусты. Один из маминих братьев, Партев, отщипнул листик.

Дед пригрозил ему.

— Пока не подадут на стол, не смей, — и шлепнул его по ручонке.

Когда капусту подали на стол, Партев отказался есть. Дед приказал ему есть, но тот заупрямился. Тогда дед схватил со стола кочерыжку, силой запихнул ему в рот и стал бить по голове.

— Подохнешь, но съешь...

Партев заплакал от боли, закричал, давясь кочерыжкой.

— Хаджи-ага, он съест, съест, — умоляла бабушка.

Но Хаджи-ага продолжал бить Партева.

— Не слышу хруста...

И Партев, чтобы избавиться от ударов, грыз и плакал, плакал и грыз. Услышав хруст кочерыжки, дед успокоился.

Усы у деда были длинные, до ушей. Он гордился и любовался ими, стоя перед зеркалом.

Была у него привычка: письма от сыновей, живших в Америке, вскрывать только ножницами. Бабушка с нетерпением, порой даже со слезами на глазах, ждала, когда ей прочтут письмо. Но дед с поистине диким упрямством не вскрывал письма, пока не находил ножниц. Затем, вскрыв письмо, он мучительно долго протирал очки, закуривал, ставил перед собой пепельницу, пропускал стопку водки, прочищал горло, покашливая, и только после этой невероятно долгой процедуры принимался за чтение.

Читал он медленно, про себя, объясняя это тем, что ему необходимо вникнуть в суть письма, чтобы потом уже сделать прочитанное достоянием остальных членов семьи. Если бабушка не отходила от деда, дожидаясь конца этих жестоких пыток, наш домашний тиран обычно говорил:

— Иди по своим делам, потом придешь...

Бабушка моя была маленького роста, кроткая, чистоплотная женщина с мягкими белыми руками, с черными улыбающимися большими глазами. От нее всегда приятно пахло свежим бельем. Говорила не торопясь, умно и очень образно.

Летом любила она подолгу сидеть на балконе. Перед ней простирался сад, террасами сбегавший к оврагу, а по оврагу протекал ручей, образуя на своем пути настоящие водопады. Ручей брал начало где-то высоко в горах и сквозь глубокие ущелья пробивался к зеленым полям. Стоило затрепетать листе и повеять прохладе с Хурийских гор, как бабушка, довольная, восклицала:

— Слава тебе господи!..

Не удивительно ли, что эти два совершенно разных человека прожили вместе, бок о бок сорок один год? Разгадка этой тайны в гнусной, освященной веками заповеди, которая гласит: «Жена да убоится мужа своего».

Как-то раз приснился деду сон, будто за забором, глубоко под землей, его прадеды зарыли кувшин с золотом. Проснувшись, он поднял всех на ноги и

заставил копать землю. Мы стали долбить твердый грунт, и действительно, на глубине одного аршина обнаружили кувшин. Увидев его, дед потерял сознание. Десять человек с трудом дотащили его до спальни. Утром дед пришел в себя и сразу потребовал кувшин. Кувшин был пуст. Дед снова потерял сознание, и на этот раз надолго. Чтобы привести его в чувство, пришлось вызывать врачей.

За всю свою жизнь дед ни разу не признал за собой никакой вины. Он верил в свою непогрешимость. Когда же бабушка ставила ему в упрек бесконечные его тяжбы и дикое упрямство, дед говорил:

— Родись я снова, делал бы то те самое...

Сам он ни у кого совета не спрашивал, но требовал, чтобы все советовались с ним. Почему? Какие права имел на это мой дед? Блистал умом? Нет. Да просто потому, что он был хаджи Аракел-ага. А что представлял собой этот хаджи Аракел-ага? Ровным счетом ничего. Сын бывшего богатея, унаследовавший отцовскую спесь и кичливость.

Если кому-либо и случалось дать ему совет, пусть даже по самому пустяковому поводу, и дед понимал, что совет дельный, он все равно его отвергал и поступал по-своему.

Помнится такой случай: взобрался как-то дед на лестницу забить гвоздь в стену. Бабушке хотелось, чтобы гвоздь был забит намертво. Она посоветовала деду вбивать его полегче. А дед, желая досадить бабушке, стукнул по гвоздю с такой силой, что почти по шляпку вогнал в стену. Таким образом, сам того не подозревая, он сделал как раз то, чего хотела бабушка. Довольная, она усмехнулась.

Если бабушке хотелось выехать на лето в деревню, она уже с зимы начинала охаивать ее:

— И кто поедет в такое пекло жариться?

Наступало лето, и дед отвозил бабушку именно в ту деревню, которую она поносила всю зиму. Так исполнялись бабушкины желания. Так поступала она во всех случаях, когда хотела провести свое.

Была у меня старая тетушка. Поспевала она всюду: на свадьбы, на похороны, к скандалам, к больным, к роженице, к разделу наследства, к сватовству.

Эта никогда не знавшая любви шестидесятилетняя женщина была заклятым врагом семейного благополучия.

И дома, и на улице с лица ее не сходило выражение недовольства и досады.

Зимой тетушка обычно хворала, летом чувствовала себя бодро.

— Мама, почему зимой тетушка скрючивается, а летом распрямляется?

— Зимой мороз сковывает ей нервы, — отвечала мать, — а летом они отходят на солнышке.

Нервы, — у моей тетушки все зависело от них.

Попытайтесь представить ее внешность: высохшее тело, короткие редкие волосы, длинные костлявые руки со вздутыми венами, скошенный лоб, впалая грудь, короткие ноги, начинавшиеся прямо от груди. У нее не было живота. Вытянутая голова без шеи, маленькие глаза, узкий у основания и расширяющийся книзу нос, который переливался всеми цветами радуги и шелушился.

Пожалуй, труднее всего описать рот тетушки, потому что он не имел определенной формы. Дома, в присутствии членов семьи, был одним, на людях — другим, когда появлялся отец — сразу же поджимался, передавая сплетни увеличивался в размерах. Когда же тетушка спала, рот, казалось, не принадлежал ей: он напоминал пустое дуло, из него, словно мачты выброшенного на берег старого судна, торчали три зуба. Ходила тетушка во всем старом — в тряпье она чувствовала себя счастливой.

Ненавидела хорошо одетых, и особенно — красивых женщин.

Помню ее поношенное, выцветшее пальто, пеструю от бесчисленных заплаток кофту и шаль, которую какой-то чудака-англичанин собирался приобрести как антикварную вещь.

* * *

У тетушки был огромный сундук из орехового дерева (три человека могли уместиться в нем, присев на корточки), все содержимое которого мне вряд ли удастся сейчас припомнить.

В сундуке хранились шелковые платья, сшитые по фасонам пятидесятилетней давности, туфли, спутанные клубки ниток всевозможных цветов, полотенца, накидки, теплые носки, чепцы, панталоны, рубашки, иглы, булавки, куски тафты различного качества, старинные золотые монеты, жемчуга, бриллианты, коврики, серебряные чаши, трубки-чубуки, четки, пояса, флаконы с одеколоном, картины, рамки, ручки с золотыми наконечниками, чернильницы, потрепанные Библии, иерусалимские кресты, пуговицы, головные уборы, кисти от фесок, наперстки...

А сама она щеголяла в неопишуемых лохмотьях, в носках, которые штопала тридцать лет кряду, почему они и не влезали ни в какую обувь.

* * *

Много лет назад некий Назар-ага хотел взять ее в жены, но она отказала ему. — Какой же душой была я тогда — не вышла за него замуж, — сетовала тетушка, — а ведь могла быть ханум-хатун в доме Назар-аги.

После этих слов тетушка тяжело вздыхала, и по ее темному сморщенному лицу катились слезы.

Назар-ага, долговязый мужчина с нелепо торчащими из-под засаленной фески волосами, зимой и летом ходил в плаще, свисающем до пят. Глаза косили в разные стороны, походка напоминала поступь осла, поклажа которого по неосмотрительности хозяина сползла к хвосту.

Но не таким представлялся он моей тетушке.

— Вот это мужчина!.. И рост, и походка — все на месте. Не болтлив, серьезен. Скажет: «Золотце ты мое!» — растаешь. Эх, и дом у него — полная чаша, и доход приличный...

Была у Назар-аги на базаре маленькая треугольная будка, где он составлял по готовым образцам письма для крестьян. Обставлена его «контора» была так — шаткий стол, стул, вдоль и поперек перетянутый бечевками, и чернильница, в

которой ничего не было, кроме волос. На столе — несколько тростниковых перьев, глиняный кувшин для воды, грязный стакан да веник, ставший убежищем пауков.

Кроме писем, Назар-ага составлял еще и прошения по наследственным и бракоразводным делам. Прощения эти он выписывал из какой-то пухлой книги, меняя только имена и даты.

За письмо брал десять медяков, а за прошение — шестьдесят.

Интересно, вспоминал ли он нашу тетушку. Не думаю. Потому что, проходя мимо наших окон, он даже не поднимал головы.

Как-то я спросил о Назар-аге у матери. И она сказала:

— Много лет назад ходили слухи... но, кажется, на том все и кончилось.

* * *

В баню я ходил вместе с женщинами.

Я до сих пор питаю отвращение к восточной бане, потому что навсегда запали мне в память тяжелые запахи серы и пара, изнуряющий жар и чрезмерно полные тела женщин.

В баню тетушка ходила не только мыться. С величайшим усердием и неприязнью изучала она девушек на выданье, чтобы сразу же после бани вдоволь посплетничать о них. Но она так уставала, натираясь всякими благовониями, что дело обычно откладывала до следующего дня. На следующий день, тщательно смазав кремом лицо и накинув на голову свою антикварную шаль, тетушка начинала обход знакомых.

Сначала заходила к Егис-ханум.

Егис-ханум была из категории тех женщин, которые боятся даже собственной тени; окна ее дома всегда были занавешены; в разговоре она старалась не упоминать имен, чтобы, не дай бог, не стать объектом пересудов.

У Егис-ханум было двое детей: сын сорока лет и дочь — тридцати пяти. Сына она не женила, чтобы избежать всяческих хлопот, а к дочери никто не посватался. Егис-ханум выводила ее из дому раз в год, шла с ней в церковь,

там держала ее где-то в углу, подальше от чужих глаз, разрешая открывать только одни глаза и нос.

Тетушка моя нарочно выдумала, будто Егис-ханум собирается сосватать сыну дочь Гоар-ханум. И плела бог весть что о дочери Гоар-ханум, которую она-де видела в бане.

— На руке два шрама — от болезни какой или от ножа, кто знает... Уж не думаешь ли ты сосватать ее за своего Смбата? — предостерегала тетушка.

— Не время еще моему сыну жениться, — говорила Егис-ханум.

— Сочла своим долгом предупредить тебя, — добавляла тетушка.

И спешила к другой знакомой.

— Дочь Азаран-ханум натирала ноги каким-то лекарством, наверно, болеет чем-то...

Где-то еще о третьей девушке:

— Лицом вышла, но тело... Я и то лучше сложена...

О четвертой:

— Волосата, как мужчина. Смотреть тошно.

И так без конца, без устали.

Как-то из предбанника вошла к нам в отделение какая-то женщина, попросилась у матери помыться с нами, мать, разрешив, куда-то вышла. В это время вдруг явилась тетушка. Увидев женщину, тетушка велела ей немедленно убираться вон.

— Вардер-ханум, — сказала ей Огабер-ханум (так звали незнакомку), — мне Маргарит-ханум разрешила...

И — пошло.

Огабер была не из робкого десятка.

— Вон отсюда!

— И не подумаю!

— Да чья ты собака, чтобы лаять на меня?!

Сбежалась родня Огабер, и представление началось. Огабер и несколько других женщин, сбросив с себя последнее, схватили тяжелые шайки и

обступили мою тетушку. Одна из них поскользнулась и, растянувшись на полу, больно ушиблась, но тут же поднялась еще более разъяренная.

Тетушка пустила в ход банный стульчик, и пострадавшая от ее удара потеряла сознание. Но тетушка и сама вскоре лишилась чувств, последним усилием успев запустить стульчиком в Огабер. Подоспевшая мать положила конец драке. Я быстро оделся и бросился искать фаэтон, чтобы отвезти тетушку домой.

5

Старшего слугу, Григора, мы звали просто Гого. Но Гого был не только слугой, а, как говорил мой отец, управляющим нашего дома.

Гого был человек медлительный, широкоплечий, среднего роста, с красными от усталости глазами и больными ногами; феску он повязывал куском ситца, почти закрывавшим ему лоб. Гого покупал мясо и зелень, смотрел за садом, ходил по воду, носил в баню белье, сгребал с крыш снег — словом, делал все необходимое по дому. Он строго различал наших гостей. Тем, кто был ему не по душе, он прямо говорил:

— Твоя физиономия мне что-то не нравится, старайся поменьше попадаться мне на глаза.

Отец не раз говорил Гого: «Не суйся куда не следует». Но Гого стоял на своем, полагая, что у нас в доме до всего ему есть дело.

Бывало, отец пошлет его за Мартиросом-эфенди — поиграть в нарды. Мартирос-эфенди был как раз одним из тех, кого Гого не жаловал. Не смея ослушаться, он тут же отправлялся исполнять поручение. Но шел он вовсе не за Мартиросом-эфенди. Побродит немного по базару и вернется домой:

— Мартироса-эфенди нет дома...

Гого прожил у нас тридцать пять лет, и это давало ему право блюсти интересы пашей семьи наравне со всеми нами. Все наше хозяйство управлялось его совестью и смекалкой. Он проявлял трогательную заботу о каждой нашей щепке, о каждой картофелине и головке лука.

Как-то отец прислал к нам маляров. Гого рассердился, рассудив, что маляров можно было нанять и подешевле. Он решительно выставил их за дверь, не считаясь с тем, что у отца была договоренность с ними, и тут же нанял других. Весной, когда наша корова начинала мычать так, что не давала никому спать, отец наказывал Гого позаботиться о ней. С удовольствием затягиваясь табачным дымом, Гого спокойно отвечал:

— Хаджи-эфенди, пусть еще немного побесится.

И, выждав несколько дней, он отводил ее в деревню Мореник, чтобы она там «перебесилась»... И действительно, из деревни Гого приводил ее уже притихшей и даже чуточку серьезной.

Приведет корову домой, тут же зайдет в курятник, возьмет свежее яйцо, разобьет его и помажет ей морду. Это была добрая примета.

Никто из нас ничего не смел срывать с деревьев: полновластным хозяином сада был Гого.

Случалось, запускали мальчишки камнями в отяжелевшие от плодов, свесившиеся через ограду ветки. Это служило поводом для дикой драки. Гого выбегал за ограду, хватал за шиворот первого попавшегося и часто сам возвращался жестоко избитым. Мать жалела его и говорила:

— Не горячись так, Гого, пусть себе проказничают...

— Ханум, — зло поводя глазами, отвечал он, — или Гого подохнет под этими деревьями, или они не будут соваться сюда!

Никто из нас так не любил наш дом, как Гого.

Мы повиновались ему. Любому из нас он мог залепить пощечину — имел на это право. Гого терял самообладание еще и в тех случаях, когда находил на выбеленных стенах следы от наших карандашей или ногтей.

Каждую осень Гого с матерью держали совет — что заготовить на зиму. И сколько бы мать ни говорила, что мало припасли масла, риса или других продуктов, — Гого твердил свое:

— Бережливым надо быть, ханум.

И всегда было так, как хотел Гого.

* * *

Гого был женат, но жена его жила в деревне, где имела небольшое хозяйство. Раза два в год приезжала она к нам, но видели ее у нас только мать да малыши: она не показывалась ни отцу, ни старшему брату — стеснялась. Лицо у нее было круглое и красное, как бурак, сама низкорослая, полная, на вопросы всегда отвечала односложно или кивком головы.

А однажды Гого спас мне жизнь, или, по меньшей мере, избавил от тяжелого увечья.

У нас в зале, на потолке, была надпись, сделанная еще при постройке дома: «Сыновья мои Акоп, Геворк, Левон — отныне наследники дома моего». А так как меня еще не было тогда на свете, в надписи мое имя не упоминалось.

И нашло на меня, что раз моего имени там нет, то я не могу быть «отныне наследником». Тайком вытащил я из подвала треножник и взобрался на него, чтобы вписать свое имя в список наследников. Не успел я приняться за дело, как почувствовал, что треножник уходит из-под ног. К счастью, на потолке, возле надписи, был железный крюк, на который зимой вешали большую лампу. Я ухватился за него и удержал треножник, но спуститься вниз не рискнул — треножник упал бы, отпусти я крюк.

В ужасе я стал звать на помощь. На мои вопли подоспел Гого. Он сразу понял, в чем дело, поддержал треножник, и я спустился на пол. Но Гого залепил мне оплеуху.

Я заслужил ее.

Вечером отец посадил меня к себе на колени и, глядя меня по голове, спросил: — Зачем ты полез туда?

Доверившись ласке отца, я чистосердечно рассказал обо всем. Отец вдоволь посмеялся и при всех объявил:

— Мое единственное сокровище — мой самый младший, и этот дом после моей смерти — слушайте все! — будет принадлежать ему!

И спустя много лет после его смерти мать в мое отсутствие, когда пришлось заняться разделом наследства, предложила отдать дом мне, из уважения к памяти отца.

* * *

После смерти отца Гого проникся к нашему дому еще большей, почти фанатичной любовью, но взаимоотношения в семье были уже не те. К матери Гого относился по-прежнему, но с моими братьями не ладил.

Вслед за старшим братом и все остальные, едва достигнув зрелости, стали заявлять претензии на наследованный мною дом.

Они проявляли признаки неподчинения деспотизму Гого, смеялись над его управленческим пылом, но Гого долгое время старался не замечать этого, да и мать говорила:

— Не слушай ты их, они еще дети.

И тем не менее однажды Гого не выдержал и заявил одному из братьев:

— Послушай, сопляк, да я тебя с потрохами...

Это еще больше обострило его отношения с братьями, в особенности с младшим Левоном.

Привел как-то Левон своих одноклассников в зал повеселиться. Их было человек десять-двенадцать мальчишек-сорванцов. Гого это не понравилось. Он предложил Левону спуститься в сад, на лужайку, обещая принести стулья и подать сироп. Левон заупрямился.

— Не хочу в сад!

Гого решил было настоять на своем, ибо чувствовал, что авторитет его в доме пошатнулся, но мать удержала его:

— Оставь их, пусть себе веселятся.

— Ты меня убиваешь, ханум, — застонал Гого.

Наверху веселье было в полном разгаре: мальчишки курили, швыряли на пол окурки, кидались подушками и под конец разбили зеркало.

Прислушиваясь к шуму наверху, Гого долго сдерживал себя, потому что так велела ханум. Но безобразию следовало положить конец, — он не выдержал, поднялся в зал и выставил вон всех друзей Левона.

Левон, пристыженный, в бессильной ярости только кусал губы. Будь жив отец, Левон молча снес бы этот позор, по после его смерти — ни за что!

— Я здесь хозяин, и слуга не имеет права вмешиваться в мои дела, — закричал Левон, когда друзья покинули дом.

— Я не слуга, а тоже хозяин, — ответил Гого.

— Нет, ты не хозяин.

— Нет, я хозяин.

— Ты уйдешь из этого дома!

Это был первый открытый «бунт» против власти Гого.

Гого молчал. Молчал не потому, что не мог ответить, а потому, что сердце его переполнилось горечью: сорок лет преданно и беззаветно, честно и искренне служил он этому дому, вырастил на своих руках и Левона, и его братьев, и вдруг такое незаслуженное оскорбление... Горечь, капля за каплей, застывала в его глубоких морщинах.

Левон продолжал кричать:

— Он уйдет из этого дома!

Старший брат, Акоп, старался успокоить Левона, но тот продолжал кричать, что, кроме него и братьев — Акопа, Геворка, других хозяев здесь быть не может.

Теперь уже вмешалась мать, довольная сдержанностью Гого. Вначале и она спокойно увещевала Левона, всячески старалась избежать скандала, но тот распалялся все больше и больше, настаивая на своем.

— Тогда вот что, сын мой, — сказала она строго, — Гого живет в этом доме на двадцать три года больше, чем ты, и если наши порядки тебе не по душе, — можешь сам уходить.

Левон умолк. Мы стояли как громом пораженные. Мама просто-напросто выгоняла сына из дому. Мыслимо ли?

Левон молча покинул зал, а мать продолжала:

— Больше всех нас заботился об этом доме Гого, здесь каждый камень знает его, и чей это язык повернулся сказать ему такое? Стыд и позор!..

Последние слова мать, кажется, бросила нам всем. Мы стояли, понуриив головы. Старший брат подошел к матери — ему хотелось заступиться за брата.
— Я его не выгоняю, — сказала она, — но если он снова потребует, чтобы Гого ушел, — уйдет сам.

Гого подошел к матери, поцеловал ей руну и сказал!

— Ханум, пусть Левон остается, я уйду. Я тебе так благодарен...

— Гого, — сказала мать, — ты себя с ними не равняй, пусть говорят что угодно. Ты слушай меня.

Гого молча отправился на кухню и стал разжигать огонь.

Вечером Левон не вышел к ужину.

Мать даже не поинтересовалась — дома ли он? Ужин прошел в полном молчании. После ужина Гого подал матери турецкий кофе в большой китайской чашке — из нее пил только отец, после его смерти никто ею не пользовался. Мать взяла чашку, заплакала вдруг, и мы заметили, что плачет и Гого. Заплакали и мы.

После долгого молчания мать объявила:

— В этом доме все останется, как было...

Это было сказано таким решительным тоном, что мы невольно вздрогнули.

На следующее утро, едва проснувшись, Левон сбежал в сад. Гого поливал там цветы.

Было чистое, свежее утро. Все еще колеблясь, несмело, но с внутренней решимостью Левон подошел к Гого и повис у него на шее. Лейка упала в траву.

Гого обнял Левона, поцеловал и прошептал ласково:

— Сынок мой, хороший мой...

6

Мой старший брат Акоп держал арабскую лошадь. Выросла она в нашем доме, никогда не видела пальм, не раскидывала копытами горячих песков пустыни.

Но в глубине ее глаз таилась живая душа Востока, и дикая тоска по просторам пустыни слышалась в ее ржании.

Маран (так звал свою любимицу Акоп) была черной, как смоль, с гладкими блестящими боками; белыми были только ноги да яйцевидная отметина на лбу.

Она никогда не знала узды и свободно разгуливала по всему двору; даже во время трапезы, когда все собирались за большим столом под навесом, она подходила, склоняла голову к плечу Акопа и, дождавшись своего куска сахара, шла к отцу и потом к матери.

Добрая мать, улыбаясь, как молодая невестка, тоже давала Маран кусок сахару.

Маран, аппетитно похрустывая, выходила в сад, тихим ржаньем давая знать, что она уже там. Услышав ее голос, Акоп вскакивал с места.

— Радость ты моя! — шептал он, замирая от счастья.

Помещение, где ночевала Маран (стойлом его нельзя было назвать), находилось под спальней наших родителей. Ночью, услышав тихое, ласковое ржанье Маран, отец говорил:

— Опять пошел к своей любимице...

По воскресеньям Акоп выводил Маран в открытое поле. Маран носилась там как ветер, как волна в море.

Для городских ребят было величайшим удовольствием смотреть, как резвится Маран. Она скакала по полю, потом вдруг останавливалась как вкопанная и смотрела своими красивыми глазами куда-то вдаль. Кто знает, о чем грезило это прекрасное животное?.. Потом она летела назад к Акопу, он раскрывал объятия, обнимал и целовал ее потную шею.

— Она не скачет, а летит, — говорили все.

Акоп приводил ее домой, а у Гого было уже наготове свежее яйцо, которое он разбивал о ее лоб, — от дурного глаза.

По окончании школы отец предложил брату поехать учиться дальше, но Акоп наотрез отказался: ведь не мог же он взять Маран с собой в Полис или в Европу.

Никому из друзей и сверстников Акопа не сиделось дома; они бегали за девушками, высматривали их по всем закоулкам, дворам, в церкви, на улицах, возле бани. Предметом их разговоров теперь была женщина, это с головы до пят закутанное в чадру пленительное и таинственное создание, один голос которого будоражил их души.

Многие из его сверстников уже обзавелись семьями, иные обручились, а некоторые повадились ходить в дом Марины, где их накрывали не раз, но Акоп по-прежнему был полон одной Маран, ничто другое его не интересовало.

Самым счастливым для него был день, когда они с Маран поднимались на пастбища. Акоп брал с собой шатер, постель и кое-какую посуду. Это значило, что целых три месяца Акоп проведет в горах вместе с Маран, будет дышать одним с ней воздухом и по ночам, лежа под шатром, чувствовать рядом ее присутствие. Целыми днями Маран щипала свежую траву, а насытившись, грелась на солнце. Акоп же сидел в тени шатра и любовался ею.

Он часто разговаривал с Маран, задавал ей вопросы, смеялся, порой ласково укорял ее.

— Марая, сегодня ты хорошо поела? — спрашивал он.

Лошадь ржала в ответ.

— Скоро домой поедем, — говорил Акоп.

Но Маран махала хвостом и мотала головой.

— Что, не хочешь? Значит, побудем еще?

Маран подходила к Акопу, срывала феску с его головы, трепала ее...

И никаких ссор и недоразумений между ними, как между близкими друзьями, не бывало.

По вечерам Акоп ложился у шатра и, уставившись в небо, пел. Маран, это беспокойное животное, слушала его не шелохнувшись. Когда же Акоп кончал петь, она грустно опускала голову.

— Спеть тебе ещё, Маран? — спрашивал Акоп.

Лошадь отвечала радостным ржаньем.

И Акоп пел:

Флакон из-под духов, И в нем одна фиалка, Я так люблю Маран, Души моей частицу.

Жизнь проходила как легкокрылое, бесконечное утро.

К середине осени Акоп и Маран возвращались домой. Мать и отец выходили их встречать. Акоп — возмужавший, загорелый, налившийся свежестью гор, и Маран — упитанная, с еще более ярким блеском глаз, с еще более залиvistым ржаньем. Они приносили с собой аромат пастбищ и сверкание звезд. Стоило Маран заржать — вокруг становилось светлее, как если бы с неба свалилась звездная гроздь и рассыпалась в доме.

И мать говорила отцу:

— Хаджи-эфенди, теперь дом наш как дом.

Акоп и его Маран были неотъемлемой, необходимой частью нашего существования; их голоса отдавались во всех комнатах, заполняли весь дом, звенели в саду, в ветвях деревьев.

Иногда Акоп выносил колыбель со спящим ребенком, ставил посреди двора и говорил своей Маран:

— Прыгай!

Лошадь становилась на дыбы, легко перепрыгивала через колыбель и мордой тянулась к Акопу, а он в ответ целовал ее в отметину на лбу.

Одно удовольствие было наблюдать, как Маран всматривалась в спокойную воду бассейна и отскакивала, увидев в ней свое отражение. Наклонившись к воде, она фыркала, и тогда по глади бассейна пробегала рябь, отражение дробилось, и, радуясь своей победе над таинственным существом в глубине бассейна, лошадь с ржаньем проносилась по аллее черешен и обегала весь сад...

Если Акопу случалось надолго задержаться в гостях, он всегда старался улучшить минуту и проведать Маран. Если же он не приходил, это означало, что мать обещала ему присмотреть за лошадью.

А когда Акоп брал Маран с собой (брал же он ее с собой часто, так как обычно его приглашали вместе с Маран, то есть «всей семьей»), он клал ей на круп яйцо и так отправлялся в гости. Маран старалась не уронить яйцо, шла медленно, плавно покачиваясь. Редко кто из прохожих не останавливался — поглядеть на искусство Маран.

Так жили два близких друга — Акоп и Маран.

* * *

Однажды на ноге у Маран появилась опухоль. Маленькая и еле заметная вначале, она увеличилась, превратилась в рану и стала гноиться. В городе был ветеринар, но он ничем не мог помочь. Тогда Акоп вызвал других врачей. И те не могли понять, в чем дело. А рана все увеличивалась.

На первых порах она не беспокоила Маран, но прошло некоторое время, лошадь утратила былую живость, погас прежний блеск в ее глазах; в серебристое ржанье вплелись тоскливые нотки.

Загрустил и Акоп. Даже отец с матерью впали в уныние. С каждым днем Акоп становился все мрачнее. Отец узнал, что в Себастии живет известный ветеринар, и отправил телеграмму с просьбой приехать и посмотреть лошадь. В ответ поступило сообщение, что через два дня врач выедет.

Прочитав телеграмму, Акоп улыбнулся и вдруг заплакал. Мать обняла сына, вытерла ему слезы и сказала:

— Не плачь, дорогой, приедет доктор, вылечит твою Маран, а не вылечит — отец выпишет из Диарбекира новую лошадь... Может, даже получше...

Кто-то сказал, что Маран сглазили. Мать достала из сундука крупную бирюзу и повесила ее на шею Маран.

Ветеринар запаздывал, он ехал на перекладных, а это значило, что, в лучшем случае, он доберется через восемь суток.

Однажды утром Маран околела.

Мы не отходили от Акопа, — он то плакал, то, сдерживая слезы, рассказывал о ней, горе его было безутешно. Посторонний никогда не подумал бы, что столько скорбных слез проливается из-за лошади.

Мать велела перенести кровать сына к себе в спальню. Родители, забросив все дела, занялись одним Акопом, окружили заботой, особым вниманием, старались отвлечь.

Отец и мать души не чаяли в Акопе не только потому, что он был их первенец: разница в возрасте между сыном и родителями была небольшой, и они дружили. Мать была еще почти ребенком, когда впервые почувствовала, как Акоп шевельнулся у нее под сердцем. Она даже не могла вспомнить тех дней, когда Акопа на свете не было.

Шли дни, но время не сглаживало горе. Тогда отец решил предложить сыну одно из двух: либо путешествие, либо женитьбу. Он был уверен, что любой выбор будет спасительным для него. Отец напомнил сыну слова из турецкой песни: «День, он пройдет, а ты не плачь».

Акоп выбрал путешествие.

Мать стала готовить сына в дорогу: сшила новую одежду, справила постель, купила шубу и зашила в пояс несколько золотых.

Она долго не могла проститься с сыном, отец же, сдержанно поцеловав его, сказал:

— Береги себя, сынок...

Все удивились выдержке хаджи-эфенди. Но когда коляска тронулась и, удаляясь, постепенно скрылась из глаз, отец поднялся к себе, открыл шкаф, залпом выпил две рюмки водки, и мы увидели, как он плачет, молча, содрогаясь всем телом. Мать, вся в слезах, подошла к нему. Он старался не смотреть ей в глаза:

— Вот теперь дом опустел, — сказал отец и попросил еще водки.

— Бог не пожелал счастья моему сыну, — прошептала мать.

Отец пробормотал какое-то страшное проклятье в адрес бога. Мать поспешно вышла из комнаты и перекрестилась...

Акоп возвратился посвежевшим и окрепшим. Он, казалось, даже стал выше ростом.

— Вернулся твой Акоп? — спрашивали у матери. И она отвечала:

— Вернулся мой тополек, вернулся.

Акоп видел море, большие города: Самсун, Полис, Смирну, Варну. Каждый день рассказывал он нам о своем путешествии. Мы слушали, разинув рты, ловя каждое его слово. Отец, не раз бывавший в тех краях, задавал вопросы:

— Был на Скутари?

— Да, поднимался..

— А в Бояджи-гюх?

— И там был.

— В Стамбуле хаш ел?

— Ел.

— Молодец, сынок...

Мать радовалась, что Акоп побывал в местах, где бывал и ее муж.

— В Хавзе в баню ходил?

— Нет, отец, не успел.

— Э, поехать в Хавзу и не сходить в баню?.. В другой раз не забудь сходить.

— Хорошо, — соглашался Акоп.

Путешествие Акопа было единственной темой разговоров в доме. Все только и делали, что слушали его рассказы, облачались в привезенную им одежду, развешивали на стены привезенные им подарки.

Мне он подарил красные чусты. Когда я, нарядившись, вышел в них в город, мне казалось, что все разглядывают мою обнову.

Спустя месяц после приезда Акоп тайком от всех отпер «комнату» Маран, которую сам же запер перед отъездом, и вышел оттуда словно его подменили. Воспоминания ли о Маран, а может быть, и скука провинциальной жизни сделали свое: загнали Акопа в тоску. Сначала это мало бросалось в глаза, а потом уже не на шутку стало беспокоить родителей.

Как-то, посадив меня к себе на колени, отец подозвал мать, и они заговорили об Акопе.

— Пора его женить, — сказал отец.

У матери радостно заблестели глаза.

— Если сумеешь убедить его...

— Похоже, что в Полисе девушки утерли ему молоко с губ.

Матери не понравились слова отца.

— Откуда ты знаешь? — возразила она.

— Значит, знаю, раз говорю, — отрезал отец.

Мать обещала поговорить с Акопом.

— Ты только не спугни его, — предупредил отец.

Конечно, девушка должна быть красивой. Отец предложил даже:

— Из какой семьи — неважно, была бы только хороша собой...

Мать прямо-таки опешила. Как, должно быть, сильно любил он Акопа, что решил поступиться своими принципами.

Она добавила.

— И хорошей чтоб была, и молоко у нее чтоб было доброе...

— Конечно, — согласился отец.

Шли дни. Поиски невесты ни к чему не приводили. Мать отчаивалась найти девушку, соответствующую образу, созданному воображением отца.

— Я хочу для сына девушку красивую, как богиня, — твердил отец.

Прошел месяц. Мать даже перестала говорить на эту тему.

И вот однажды отец спросил ее:

— Ну, Маргарит, нашла девушку?

— Ты ищешь ангела, а на земле живут люди.

— Да, ангела, ты права.

— Ангелов нет.

— Есть, — сказал отец, — есть, я нашел.

— Кого же?

— Дочь Григора-аги.

— Она еще ребенок.

— Не беда, тебе самой было тринадцать...

Мать стыдливо опустила голову, — а ведь он прав.

Потом спросила:

— А отдадут?

Отец был задет.

— Я попрошу — пусть только откажут: девушке тринадцать, парню восемнадцать, — почему бы не отдать?!

— А парень-то какой! — добавила мать.

Ехисапет, дочь Григора-аги, действительно была красивая девушка, именно такая, какая рисовалась воображению отца. Когда мать сказала о ней Акопу, он улыбнулся и обнял ее.

Зашли как-то вечером мои родители в гости к Григору-аге и, поговорив о том о сем, завели разговор о Ехисапет.

— Хаджи-эфенди, дочь моя — ваша, только я должен переговорить с женой, — сказал Григор-ага.

— Хорошо, — согласился мой отец.

На следующий день, вечером, нам принесли большой поднос пахлавыв из дома Григора-аги — знак согласия.

Потом несколько дней наши дома обменивались подарками. А еще через восемь дней мать, вернувшись из бани, поднялась к отцу и сообщила, что там видела Ехисапет.

— Ну как она?

— Будто с луны сошла, — ответила мать.

Рассказала, как Ехисапет, с разрешения своей матери, пришла и поцеловала ей руку и как она не хотела отпускать от себя девушку, сама выкупала ее, расчесала волосы, одела, усадила в фаэтон и отправила домой.

— Ты правильно поступила, — похвалил отец.

Решили не откладывать дело в долгий ящик, вскоре последовало обручение Акопа, а затем и женитьба.

Мать позаботилась, чтобы свадьба была пышной, но с отцом у нее вышла нелепая ссора. Отец не хотел, чтобы его сына венчал священник.

— Привезем ее из отцовского дома, и на том дело с концом, — твердил отец.

Мать возражала:

— Хорошо, я согласна с тобой. Но захотят ли родители девушки, чтобы их дочь осталась невенчанной?

Отец понимал, что жена права — нельзя девушку приводить в дом без венца, но ему было досадно, что без священника нельзя обойтись. Наконец после долгих уговоров отец уступил и согласился венчать сына, однако настаивал, чтобы после венчания священник ему не попадался на глаза. Мать тайком от отца приняла священника, накормила, напоила его, заплатила деньги и сама проводила, наказав домашним ничего не говорить отцу. Хотя отец и подозревал жену в непослушании, он тем не менее ни о чем не догадался, так как все это происходило за его спиной и формально требование его было выполнено.

С появлением Ехисапет в доме стало светлей и радостней. Она была еще девочкой и вместе с нами играла в мяч, резвилась в саду и купалась в бассейне. Приходя домой, Акоп заключал ее в свои объятия, брал на руки и уносил в комнату, целуя и приговаривая: «Маран, милая моя Маран...»

Геворка, брата моего, следовавшего по возрасту за Акопом, я всегда вспоминаю с особой благодарностью, потому что его — единственного в пашей семье — я никогда не видел сердитым. Бывало, разойдется кто-то, начнет кричать, но появляется Геворк, мило улыбается, отпускает веселую шутку, и тут же воцаряются мир и спокойствие. До сих пор я не перестаю восхищаться его выдержкой, ведь люди обычно восхищаются именно теми достоинствами, которых нет у них самих.

Геворк был человек спокойный и уравновешенный. Пожалуй, единственной его страстью был кишмиш. Да, кишмиш он любил. Он мало ел, разборчив был в еде, но к кишмишу питал особую страсть. Ради кишмиша он мог поступиться всем на свете.

Однажды Геворк заболел и лежал с высокой температурой. Отец подошел к нему и, приложив руку к горячему лбу сына, спросил:

— Геворк, хочешь кишмиш?

Геворк приоткрыл глаза, он никогда не отказывался от кишмиша, но на этот раз ответил с нескрываемой досадой:

— Нет, не хочу, я болен...

Тогда отец послал за доктором:

— Если он отказывается от кишмиша, значит, плохи дела.

Помню и другого своего брата — Левона, которого дома звали просто Лоло. Смуглая кожа, высокий лоб, темные, слегка вьющиеся волосы, большие черные глаза — таким был наш Лоло. Это он рвал и метал, когда сердился, это его голос гремел на весь дом, но в груди его билось доброе сердце. Геворк никогда не плакал, никогда не терял самообладания, Левону же ничего не стоило выйти из себя, он становился свирепым, как зверь, но только отойдет — тот же ребенок, доверчивый и мягкий. Я восхищался выдержкой Геворка, однако всем существом тянулся к Лоло.

Я любил, когда Лоло, возвратившись с какой-нибудь прогулки с друзьями, рассказывал:

— Вошли мы в ущелье, и вдруг посыпался град величиной с кулак.

Спустя годы, когда Лоло оказался в Нью-Йорке, в этом чудовищном и страшном городе, его необузданные страсти нашли себе выход. Он окунулся в мутные воды нью-йоркской биржи, испытал взлеты и падения: сегодня он богач, а завтра — ни цента в кармане.

Я приехал в Америку на французском пароходе «Ла Турин». Лоло поднялся на борт.

— Как мать? — спросил он.

— Хорошо, только когда вспоминает тебя и Геворка — плачет.

Я заметил, что он прослезился.

Лоло взял меня за руку, и мы вместе вступили на американский берег. Всю ночь он показывал мне Нью-Йорк.

— Видишь, как огромен этот город, кажется, что он необъятный. Всего можно добиться здесь. Слово за тобой, покажи себя...

В то время на руках у него были акции железных дорог. Однако я не последовал за ним на биржу, окунулся в мир книг, окунулся с такой же страстью, с какой Лоло — в биржевой омут.

Месроповским письменам впервые обучил меня учитель-сириец, господин Ашур — человек невысокого роста, широкоплечий, с огромным выпуклым лбом, лысый, с большими серо-голубыми глазами, с обвислыми усами, похожими на две пушистые мышки. От древних вавилонских статуй он отличался разве что очками, обстоятельством, несколько нарушавшим архаичность и величественность его облика.

Господин Ашур был еще и поэтом, он писал на полуграбаре, подражая старым мастерам. Он написал: «Сон младенца», «Плач на могиле благочинного Никогаеса-аги Азнавурянца», «Ангелы», «Благословение воину», «Мир семьям вашим», «Дщери небесные» и так далее и тому подобное. Все это он сочинял, разумеется, по разным поводам и посвящал разным лицам.

Это он, господин Ашур, заставил меня прочитать по складам первое предложение на грабаре: «Крест да поможет мне». Некоторые дети с трудом «призывали» «Крест в помощь». Для таких у господина Ашура был весьма простой метод — удар палкой. Справедливости ради надо отметить, что палочные удары, как правило, наносились по мягкому месту. Все родители были довольны этим его методом воспитания. Более того, даже поощряли этот метод.

Выучив алфавит и научившись читать по складам, мы покидали господина Ашура и поступали в школу. В конце года он произносил речь, разумеется, на грабаре, из которой мы ничего не понимали, вернее, мы уясняли только, что речь эта содержит много ценных наставлений, смысл которых, однако, доходил до нас лишь позднее.

Но господин Ашур не забывал нас. Иногда, встретившись на улице, останавливался и приказывал: «Прочти-ка мне это предложение». Так он

проверял наши успехи. Если мы читали хорошо — он улыбался, довольный, и бормотал под нос: «Хороший фундамент заложен, слава богу!»

В один прекрасный день господин Ашур объявился у нас дома. Его огромные глаза сияли и казались вдвое больше. За несколько недель до его визита мы похоронили Тиграника — маленького сынишку старшего брата. Я написал стихотворение по этому поводу и, никому не сказав ни слова, отправил его в Смирну, в еженедельник «Восточный журнал». Стихотворение напечатали — это было мое первое напечатанное произведение. Вот по этому поводу господин Ашур и зашел к нам.

Сказав несколько хвалебных слов в мой адрес, он повторил:

— Хороший фундамент заложен, слава богу!

7

У меня были три сестры — Хасик, Сирануш и Дзайник. Хасик была младше Акопа, но старше Левона и Геворка, я — самый младший из братьев — был старше Сирануш и Дзайник.

Мои воспоминания о Хасик всегда связаны с отцом: она подавала ему чувяки, подносила воду, когда он мыл руки. Исключительно услужливой девушкой была Хасик.

Для меня осталось загадкой — чем ее пленил золотозубый приезжий из Америки? Подробности мне неизвестны, знаю только, что счастья с ним она не нашла.

Хасик всегда готова была служить другим.

Сирануш — девочка с большими черными глазами и пышными волосами, любительница поболтать и посмеяться — обладала редким даром выводить людей из себя тем, что, не прекословя, соглашалась с ними, но в этом согласии вечно сквозила неприкрытая ирония.

В школу мы ходили вместе, я сопровождал ее. На улице она брала меня за руку и прижималась ко мне. А я... я очень гордился тем, что охранял такую девушку. Я любил ее, потому что она не подтрунивала надо мной, и в ее

отношении ко мне не было ни малейшей иронии. Несчастье постигло и Сирануш: ее мужа убили какие-то бандиты.

Дзайник — это вылитый я, родился я девушкой: те же голубые глаза, черные брови и пушистые ресницы. Ей ничего не стоило вспылить, но она быстро отходила. Я так хорошо понимал ее.

Многим она казалась непонятной, загадочной, а для меня ее характер был прочитанной книгой. Все ее поступки, даже самые нелепые, мог бы совершить и я.

Как часто я вспоминаю тебя, синеглазая моя сестренка! И когда я тебя вспоминаю, в моей памяти всплывают родные картины: наш сад, крыша нашего дома, цветущая акация. Вспоминаются желтые осенние листья, которые ветер сгребал в кучу; крупные хлопья снега... Тебе было отдано последнее молоко нашей матери, ты — последняя ее фиалка, последняя песня и последняя радость.

Кроме сестер моих, были и другие девушки, которые, ярко распустившись, благоухали на берегах моего детства.

Еще звенят в ушах их голоса, еще цветут их улыбки перед моими глазами. Они были веснами среди весен, цветами среди цветов.

Одна из них — Христина, с лицом цвета чистого застывшего меда, при встрече со мной вспыхивала вся, вспыхивала так, что, казалось, вот-вот сгорит. Маленькая, пухленькая, кругленькая, с руками тоже пухленькими, с ямочками. Бывало, дерну ее за волосы, а она убежит и засмеется. До сих пор помню ее смех, он казался мне дивной песней.

Убежав от меня, Христина мчалась по дорожкам сада, взбегала на веранду дома, распахивала окна и заливалась смехом.

Христина была как звездочка, сошедшая с неба.

— Спустишь, — кричал я ей снизу.

— Не спущу, дергаешь за волосы.

— Не буду, иди.

Она спускается в сад. Я отхожу к зарослям кустарника. Она следует за мной, Останавливается там, где никто нас не может видеть, даже если будет подглядывать с неба, — в самой гуще зарослей, Христина мне кажется лампадой, зажженной чьей-то невидимой рукой.

Подхожу к ней.

Она опускает глаза.

Сердце колотится, вот-вот вырвется из груди. Беру ее за волосы.

— Дернуть?

— Дергай.

— Я не буду дергать тебя за волосы, — говорю ей шепотом и подношу ее косы к своим губам.

О, этот запах ее волос! Он словно исходил из чашечек всех цветов весны.

Я беру ее за руки, глаза ее загораются, и она снова убегает.

И — нет лампы в гуще зарослей.

Звездочка, сошедшая с неба, звезда моя, Христина, — я помню тебя.

С Вероной я виделся раз в год. Мы были обручены еще с колыбели, и, может быть, потому она смущалась при встрече со мной. Верона, маленькая и быстрая девочка, я помню твои жемчужные зубки, ямочку на подбородке и красивые руки. Помню твой лоб — высокий и чистый.

Я слышал, небо обрушилось на твои чудесные сады...

Помню Ребекку, мою двоюродную сестру. Рослая, крепкая и бойкая, она была девушкой умной и поэтичной, голубизна ее огромных глаз была столь беспредельна, что ее с лихвой бы хватило, чтоб восстановить весь обрушившийся небосвод. А небосвод обрушился-таки на белые, еще нераспустившиеся лилии ее жизни. Увезли Ребекку в аравийские пустыни, накололи на светлом ее лбу и щеках родинки...

Сестра, преклоняюсь перед ужасной судьбой твоей...

Прими эти слезы брата.

Наша улица — часть той дороги старого Востока, которая берет начало в древнем Риме, доходит до бывшей столицы Византии, прерывается на миг

полоской моря и, змеясь по всей Малой Азии, тянется мимо нашего дома до самого края света — Багдада.

Для нас Багдад и вправду был краем света. Из наших мест только один человек побывал там, и когда он возвратился, встречать его вышел чуть ли не весь город.

— Подумать только — человек до Багдада дошел и назад воротился!..

Когда же я стал изучать историю Греции и Рима и впервые прочел о нашествиях эллинов на Восток, о персидских войнах, о Ксерксе, об Александре, о Юлии Цезаре, о дорогах, проложенных римлянами, — нашу улицу я полюбил еще больше.

Мне казалось, что я вижу, как проходят перед нашим домом греческие и римские легионы, персидские войска...

Давно, еще в школе, рассказывая о каком-то походе, я умудрился провести эти войска по нашей улице, а мой учитель только улыбнулся и не исправил меня.

Улица, на которой мы жили, была в то же время дорогой, связывающей наш город с другими городами и селами. Во все времена года, каждое утро по нашей улице проходили вереницы людей из Старого города и окрестных сел: лавочники, торговавшие на базаре, ремесленники, батраки. И каждый вечер те же люди возвращались по нашей улице в Старый город и в села.

Был среди них и учитель математики городской школы.

Отличался он от них тем, что белый воротник его сорочки всегда был накрахмален, и тем еще, что ездил он на белом осле. Причем, вид у осла был куда солиднее, чем у седока. Осел отличался дурной привычкой: по утрам он издавал жалобный рев прямо у наших ворот, отчего вся улица просыпалась и крестилась. По этому реву сверяли часы. Те же, кто не имел их, возмущались:

— На «общественном» осле разъезжает, ему-то что!

Однажды в нашем доме состоялось собрание, на котором присутствовал и учитель математики. Председательствовал Никогос-ага. Как только математик вошел в комнату, слуга отвел его осла в сад и привязал к дереву.

В течение всего собрания я стоял на пороге и ждал момента, когда кто-нибудь из попечительского совета скрутит сигарку, чтобы чиркнуть ему под нос спичкой. На собрании горячо обсуждался вопрос о повышении жалования математику. Математик настаивал на этом, а попечительство единодушно не соглашалось.

Учитель жил в деревне и не хотел переезжать в город. А раз он живет в деревне и каждый день ездит в город, то, понятно, у него лишние расходы.

Наконец один из попечителей, чьи усы загибались за уши и терялись в волосах на затылке, хриплым голосом сказал:

— Парон варжапет, разве мало вам осла?

Не успел математик раскрыть рот, как осел в саду заревел, заревел так, что все стекла в окнах задребезжали.

Математик повернулся к попечителю с длинными усами:

— Ну, получили?

Попечитель с длинными усами не растерялся и перешел в наступление:

— Если вы и в математике прибегаете к услугам осла, уважаемый варжапет, то с вас и взятки гладки.

В споре выяснилось, что математику осла выделил совет попечителей, вот почему все, кого раздражал рев осла, говорили: «На общественном осле разъезжает, ему-то что!»

* * *

Через несколько дней после того собрания надменный председатель Никогосага был публично посрамлен. Случилось это так.

В нашем городе была одна гулящая женщина по имени Марица. Была до нее еще одна, ее звали тоже Марицей. Так что многие вместо «гулящая» говорили

— «Марица...» К примеру, один спрашивал:

— Откуда идешь?

Другой отвечал, прищурился глазами:

— От Марицы.

Марица... На нее указывали пальцем.

Указывали и не разговаривали с ней.

Парень, прошедший с ней ночь, делал на улице вид, что не замечает ее. Соседи Марицы наглухо забили у себя окна, смотрящие на ее дом, до той поры, пока этот содом и гоморра не переберется в другой дом, в другой город, или другую страну.

В бане перешептывались:

— Гляди, какие телеса, недаром к ней так лезут.

В бане к Марице не подходили, боясь подхватить заразу. Но Марица и сама ни с кем не общалась, садилась в стороне, на стульчик, и какая-то старуха, бывшая гулящая, некогда познавшая целое поколение мужчин в нашем городе, купала ее, новую героиню, растирала всевозможными благовониями.

По улице Марица шла не торопясь, с голубым зонтиком в руке (служанка шла следом за ней). В волосах у нее красовался гребень, похожий на голубиное крыло. Она искусно покачивала бедрами, косилась на мужчин, слегка улыбаясь.

В церковь она не ходила — все равно не пустили бы, и лишь изредка молодой священник приглашал ее к себе — приобщить к «слову божьему».

Как-то на нашей улице послышался необыкновенный шум. Все высыпали из домов, женщины выглянули в окна, дети взобрались на крыши.

По улице катилась орава мальчишек. И вся эта орава преследовала одного человека — Никогоса-агу.

Мальчишки улюлюкали:

— У-у, он был у Марицы!..

— Э-эй, э-эй, он вышел из дома Марицы!..

Никогос-ага то и дело поднимал с земли камни и бросал в мальчишек.

Мальчишки разлетались, как воробьи, потом снова собирались и кричали:

— Председатель попечительства был у Марицы...

Вскоре к мальчишкам присоединились взрослые.

— Врут они, врут! — кричал Никогос-ага.

И бежал. Бежал запуганный, пристыженный, высматривая в домах открытую дверь, которая спасла бы его от безжалостных когтей позора.

Но все двери были на запоре, ибо никто не хотел участвовать в преступлении, которое мужчины совершали во все времена.

Когда Никогос-ага добежал до нашего дома, женщины наши опустили все занавески и заперли дверь.

С крыши я разглядел Никогоса-агу: по лицу его катились капли пота, на шее вздулись жилы, скривились губы, вытаращенные глаза выражали ужас.

— Всю ночь у Марицы пропадал, — продолжали кричать в толпе.

Отец мой к окну не подошел, он сидел на тахте, курил и хмурился:

— Зеваки, делать им нечего.

Наконец Никогос-ага добежал до базарной площади и скрылся.

Преследователи, успокоившись, разошлись.

С того дня никто в городе не встречал Никогоса-агу, магазин его не открывался.

Поговаривали, что и дома он никого не хочет видеть, уединился, курит без конца и все ходит из угла в угол, разговаривая сам с собой.

Спустя шесть месяцев прошел слух, что Никогос-ага погрузил все свое имущество на арбу и ночью с семьей покинул город и что на прощание он обернулся, махнул рукой и выругался.

Куда уехал Никогос-ага и что с ним случилось — так никто и не узнал.

Весна. На нашей улице цветут миндаль, яблоня, груша, слива и акация. На далекой вершине Мастара еще упрямо держится снег, а на полях, ярко-зеленых и усеянных цветами, солнце празднует победу....

Утром, когда деревенские телеги проезжают по нашей улице, на рогах волов белеют большие ветки цветущего миндаля, и кажется, что рога опушены снегом. Папахи же сельчан украшены розовыми ветками цветущей яблони.

Скрип телег начинался с самой рани, в тот волшебный, предрассветный час, когда сон особенно сладок и необорим. Доносясь издали, этот скрип убаюкивал нас и обволакивал все существо предутренней дремой.

Телеги скрипели долго, протяжно.

Мы просыпались, начинался трудовой день, который длился до полудня.

Медленный и однообразный этот скрип можно было сравнить с музыкой, и веселой и грустной одновременно, в зависимости от того, как воспринимать.

Когда меня донимали упреками, так что сердце готово было разорваться на части и слезы сами наворачивались на глаза, мне казалось, что каждый оборот колеса отзывается на мою боль и утешает меня.

Врывался в тележный скрип и звон кузнечных молотов — то частый-частый, то, наоборот, редкий.

Кузнецов на нашей улице было много. Я любил стоять возле какой-нибудь кузницы и смотреть на горящий горн, который напоминал мне разъяренного зверя.

Кузнецы с закопченными лицами и почерневшими, огрубевшими руками поднимали тяжелый молот и набрасывались на железо, чтобы сломить его упорство. Когда они вытаскивали из огня раскаленное железо, я приходил в восторг.

На вопрос домашних, кем бы я хотел стать, я, не раздумывая, отвечал: кузнецом. Ремесла более героического я себе не представлял.

Мне нравились лица кузнецов, черные от копоти, особенно их глаза, красные от отраженного в них огня. Я подходил поближе к наковальне, так, чтобы огненные брызги, вылетающие из-под молота, сыпались на меня. Мне очень хотелось хоть чем-нибудь походить на кузнецов. Я был уверен, что настоящий человек должен быть кузнецом, хотя бы потому, что только кузнецы, наработавшись, могут есть с таким завидным аппетитом один сухой хлеб с луком.

Дома хлеб с луком я не то чтобы с аппетитом, даже насильно проглотить не мог. Я пробовал себе смастерить горн и наковальню, но из этого ничего не получилось.

* * *

Теперь, когда я вспоминаю нашу улицу, перед мысленным взором встают друзья детства — собаки. Я всегда чувствовал их бескорыстную любовь к себе. Свора собак была моей армией. И сейчас, если кто-нибудь грубо обращается с собакой, сердце мое сжимается.

На всех собаках и оставлял следы своей привязанности к ним. Например, я обрубил им хвосты: бесхвостыми они нравились мне больше.

Они любили меня, и эта любовь была особенной; искренней, нетребовательной, всепрощающей. Я бил моих друзей, они визжали от боли, но через несколько минут снова льнули ко мне, лизали мне ноги, те самые, что причинили им боль.

Такова настоящая привязанность, именуемая собачьей.

Я проходил по старой римской дороге, сопровождаемый собаками — моей армией. Одни бежали впереди меня, другие — рядом, но главные силы моей армии держались позади. Каждую из них я знал по имени, знал, когда она появилась на свет, помнил даже ее родословную: прадеда, деда, отца. Я помнил, а собаки, будучи собаками, забывали даже самых близких — отца и мать, братьев и особенно сестер — и грызлись между собой, кусались. Пес Ало спутался со своей сестрой, и она родила щенят.

Друзья мои знали, когда я выхожу из школы: они выстраивались у дверей, встречали меня и провожали домой.

* * *

На тополе в нашем саду, стройном и высоком, как мраморный минарет во дворе исламской мечети, аист свил гнездо.

До тех пор, пока эта птица не возвращалась с юга в свое гнездо, для матери моей весна не наступала, и она никому не позволяла снимать зимнюю одежду.

Но стоило нам завидеть аиста — мы влетали домой, сбрасывали с себя пальто, шапки и выбегали налегке во двор. На шум выходила мать.

— Кто разрешил вам снять пальто? — сердилась она, всплеснув руками.

— Длинноногий прилетел...

— Вот как!..

Чтобы убедиться в этом, мать поднималась на крышу. Аист высовывался из гнезда и стучал клювом. Она почему-то крестилась. Для нее было великим счастьем, что аист свил свое гнездо именно на нашем тополе. Со всеми другими крылатыми обитателями нашего сада мы имели право делать что угодно, даже разорять их гнезда, но аист был неприкосновенен. Впрочем, если кто и запустил бы камнем, все равно не достал бы до гнезда. Вскарabкаться на тополь, чтобы напугать аиста, тоже не имело смысла — не обратил бы внимания.

Однажды он не прилетел весной, и в дом пришла смерть. Конечно, совпадение было случайным, но мать верила в дурные приметы.

Случилось так, что аист не прилетел в свой срок еще раз.

Сжалось сердце матери.

— Смерть придет, — сказала она.

На всех членов семьи стала смотреть как-то особенно нежно, наверное, думала о каждом — не его ли черед?

Мы пытались рассеять ее тревогу.

— Пустое, мать, не бойся...

— Не пройдет и года — смерть придет, — повторяла она с глубокой верой.

И год еще не кончился, как смерть пришла. Она взяла отца за руки и увела туда, откуда возврата нет.

Мать плакала и причитала:

— Я ведь знала, что так будет, — не прилетел длинноногий.

* * *

От зари до зари трудились на нашей земле батраки. Зимой и летом, когда бы ни вставало и когда бы ни заходило солнце, мы просыпались, завтракали, шли на работу, возвращались, ели и ложились спать в один и тот же час. Батраки же осуждены были работать от зари до зари.

И солнце было безжалостно к ним, оно немилосердно жгло им спины.

От зари до зари звенели их заступы, врезались в землю и отливали на солнце холодной синевой.

В полдень они «обедали», садились под тенистым деревом и ели лук с хлебом, иногда вареную картошку и очень редко вареные яйца. Когда хлеб не лез в горло, они спускались к ручью, жадно пили холодную воду и мозолистыми руками вытирали мокрые лица.

Под вечер, когда длинные тени от деревьев сливались с сумерками, спускавшимся на землю, они брали заступы, забрасывали за плечи котомки и шли домой.

На лицах, руках, босых ногах батраков усталость проступала так отчетливо, словно они были выкрашены этой усталостью, как краской.

Весь мир восторженно приветствует восход солнца, лишь батраки приветствуют закат, приветствуют темнокрылую ночь, потому что она несет им долгожданный отдых.

И когда я смотрел на их заступы, сложенные под стенкой, мне казалось, что и заступы устали и спят.

И мать моя, такая добрая, не думала о наших батраках: женщина, которая каждое воскресенье приводила к себе нищих и садилась с ними обедать, которая помогала деньгами не одной семье и жалела, очень жалела всех голодающих, считала, что батраки должны начинать работу на заре и кончать ее на закате.

По субботам батраки выстраивались вдоль стены в ожидании платы за труд.

Получив, что им полагалось, они благодарили нас и расходились.

8

Еще не стемнело, горизонт пылает от заката, даже пыль на улице кажется розовой. Поредели прохожие, улица зевает, хочет спать, устала.

Домочадцы один за другим поднимаются на крышу, расстилают свои белоснежные постели, чтобы остудить их после дневного зноя.

В городе мир и тишина, перестали мычать коровы, потому что их подоили и оставили в покое.

— Помогите! Убивают... Скорей!..

Крик, полный страха и боли, ужасающий вопль. Это голос нашей соседки. Крик доносится из подвала противоположного дома.

Сбегаются соседи. Первым успевают мой старший брат. Он хватается за ветку дерева и, раскачавшись, спрыгивает с крыши прямо на улицу.

Я стою на крыше, дрожу всем телом, а наша соседка все кричит; «Помогите, скорей, убивают!..»

Чуть погодя мой старший брат вытаскивает из подвала двух юношей, держа одного за руку, другого за ворот. У одного изо рта течет кровь, волосы всклокочены, одежда изорвана. Они еще порываются вцепиться друг в друга, но могучие руки моего брата не дают им сойтись.

Мы о труде узнаем в них сыновей нашей несчастной соседки — Ваграма и Рача. Ваграму девятнадцать лет, Рачу — семнадцать. В день рождения Рача родилась и Вероника, дочь других наших соседей. Рач и Вероника были обручены еще с колыбели. Братья выросли, и пока Рач предавался мальчишеским забавам, Ваграм влюбился в Веронику.

Ваграм и Вероника, таким образом, согрешили. Рач знал об их любви, но так как продолжал еще играть в бабки и, подобно мне, возиться с собаками, не реагировал на это.

Но время шло... Рач вышел из детского возраста, стал понимать, что происходит вокруг, и сердце его сжалось: ведь Вероника принадлежала ему с колыбели — такова была воля родителей.

И хотя родители успели уже позабыть об этом обручении, Рач решил вернуть себе право на Веронику.

Сначала Ваграм был лишь соринкой в глазах у Рача, по соринка все росла и росла, стала мешать ему видеть мир.

Ваграм любил брата в детстве. Качал его колыбель, потом водил гулять, помогал готовить уроки, защищал от мальчишек-забияк, делал ему змея, научил плавать. Но один взгляд Вероники заставил Рача забыть обо всем этом. Он перестал разговаривать с братом.

Ваграм поначалу ничего не подозревал.

— Рач, дорогой, что с тобой происходит? — спросил как-то Ваграм.

Рач, молча, не двигаясь, долго смотрел ему в глаза, словно хотел проникнуть в глубину его души. И Ваграм понял: это ревность. Он опустил голову и отошел.

С того дня братья старались не встречаться друг с другом, и между ними встала стена глухой враждебности.

Щеки Вероники цвели румянцем, казалось, прикоснись к ним — брызнет кровь. Волосы — словно гонимый ветром маленький водопад, глаза манили, как два огонька в бескрайней пустыне. Всегда приветливая, всегда услужливая, живая девчонка была Вероника.

В тот день они с Ваграмом тайком спустились в подвал. Сели на поленницу, обнялись. Дверь вдруг заскрипела, кто-то вошел, сделал два шага, остановился. Это был Рач.

Ваграм внезапно почувствовал ненависть к младшему брату, к тому, кого качал в колыбели и носил на плечах. Взгляды их встретились. Кровь ударила обоим в голову, братья бросились друг на друга.

Несколько раз они падали наземь, снова вскакивали, каждый тянул любимую девушку в свою сторону.

— Ты осквернил мою колыбель — выдавил из себя Рач.

— Верон моя! — зарычал Ваграм.

— Это мы еще посмотрим, — зло ответил Рач.

Они вцепились в девушку: Вероника забилась в их руках, как птица, попавшая в клетку, издала сдавленный хрип и потеряла сознание. Но разъяренные братья продолжали борьбу за девушку — и тут вдруг заметили, что она уже бездыханна. Тогда в бешеной ярости они кинулись друг на друга.

Ваграм изо всех сил сжал горло Рачу.

Рач содрогнулся от боли и сквозь стиснутые челюсти зарычал, как зверь.

Этот крик услышала мать и бросилась в подвал. Она нашла Веронику задушенной и растерзанной, а сыновей своих сцепившихся в яростной схватке.

— Помогите, помогите! Они загрызут друг друга... Убили. Они убили!..

Первым подоспел мой брат.

Страшная весть облетела весь город. А с другого конца улицы уже доносился душераздирающий крик другой матери, протяжный, страшный вопль.

— Доченька моя, кровинка, солнышко мое красное! — Это кричала мать Вероники, мать той девушки, которой уже не было в живых.

Вынесли наверх мертвую Веронику, мать подбежала, обняла неподвижную голову дочери и зарыдала.

Ваграм и Рач смотрели друг на друга налитыми кровью глазами, скрежетали зубами, и, если бы их не сдерживали, они растерзали бы друг друга.

Веронику внесли в дом. Плач матери становился все глуше и наконец затих.

Ваграма и Рача заковали в цепи и увезли в тюрьму.

Народ разошелся по домам. В этот день люди долго еще говорили о преступлении, пока сон не одолел их.

9

В городе я лучше всех умел клеить бумажных змеев. Мы делали их большими в поперечнике, длиннохвостыми и разноцветными. Летними вечерами, когда над крышами и улицами проносился ласковый ветерок, когда большое цвета абрикоса солнце еще не жило в синей постели гор, мы запускали змеев с самых высоких крыш. Поднявшаяся с полей лиловая тьма повисала в воздухе тяжелыми покрывалами, и с нашего неба сыпались звезды, тысячи звезд — больше, чем с любого другого неба. А наши змеи парили в синеве этого неба и казались разноцветными фонарями. Потом синева сгущалась, и мы уже не видели змеев, — были только фонари, яркие, как луны, блуждающие, раскачивающиеся, ищущие и не находящие своих орбит. Каждый вечер над нашим городом плыли десятки таких лун. Некоторые из них сгорали на глазах: взметнется в последний раз широкий язык пламени и исчезнет.

Однажды я, запустив змея, привязал конец шпагата к желобу и довольный прилег на крыше. Змей мой поднялся выше всех змеев, запущенных с других крыш. Вдруг я услышал, что желоб задребезжал. Не успел я вскочить с места,

как он сорвался и грохнулся на мостовую. Я посмотрел вниз — не упал ли он кому на голову? К счастью, на улице никого не было. Я ужаснулся, ведь желоб мог угодить в отца, который возвращался домой обычно в эти часы. В глазах у меня потемнело, с трудом я оторвался от края крыши, побежал вниз, обрубил конец шпагата и стал быстро-быстро сматывать его в клубок. Змей, спускаясь, застрял в ветвях шелковицы, росшей в саду напротив. Я дернул за шпагат, он запутался еще больше. Я подумал, не взобраться ли на дерево, но тут в конце улицы послышался рев осла, на котором ехал отец; тогда я дернул за шпагат, оборвал еще раз конец, поднялся в комнату отца и побежал к окну: заметит ли отец желоб? Он заметил и спросил слугу:

— Почему желоб валяется на улице?

Слуга не сразу нашелся что ответить. Держа осла под уздцы, подошел к желобу и увидел конец шпагата. Смекнул, в чем дело, и объяснил.

— А ну, позови его ко мне, — велел отец и поднялся к себе.

Я сразу же понял, что мне следует спрятаться. Спрыгнул с подоконника, забрался в стенную нишу, куда складывали постели, и задернул занавеску.

Слуга долго искал меня.

— Хаджи-эфенди, его нет нигде, — сказал он отцу.

В комнату вошла мать, Отец спросил обо мне.

— На крыше, змея пускает, — ответила мать.

Она еще не знала о случившемся. Отец объяснил, в чем дело. Мать схватилась за голову и воскликнула;

— Вай, чтоб ослепнуть мне!..

От страха я сжался в комок.

Немного погодя мать встревожилась не на шутку:

— Ладно, что было — то было, но куда же девался ребенок?

Собрались братья и сестры. В доме поднялся переполох. Заглянули во все углы, только в комнату отца не вошли. Кто бы мог подумать, что я скрываюсь именно там.

Братьев послали к соседям и родственникам. Вскоре они вернулись:

— И там его нет.

— Поищите в саду, — велел отец.

Братья бросились в сад.

— Нет его.

— Может, темно, не видно? — тревожно спросила мать.

— Луна светит, — ответил старший брат.

Отец налил себе водки (я смотрел сквозь занавеску), но не выпил, рука застыла в воздухе. Видно было, что он расстроен сильно.

— Куда же девался ребенок? — прошептал он.

Голос его дрогнул.

Выскочи я в ту минуту из ниши, отец обнял бы меня; не знаю, почему я не сделал этого.

— Акоп, сынок, оседлай коня, поезжай к дяде, может, он там, — сказала мать. — Если там, не привози, пусть побудет несколько дней.

Минут через пятнадцать я услышал цокот копыт по булыжнику.

В комнате воцарилось молчание. Оно еще больше сковало меня. Лежа неподвижно, я незаметно уснул. Не понял, как это случилось, только шлепнулся вдруг на пол. Когда проснулся, вспомнил все. Попытался убежать, но старшая сестра поймала. Прибежала мать, смеясь и плача, стала целовать меня. Я уткнулся ей в грудь и не заметил, как вошел отец, почувствовал только прикосновение его усов и запах табака. Отец целовал меня и все повторял: «Ах ты паршивец, ах ты паршивец!»

Вскоре я снова услышал стук копыт.

То был брат.

Он крикнул еще с порога:

— Его нет!

Все рассмеялись, а я из-под локтя отца смотрел на старшего брата, глаза которого уже искрились добротой. Подбежал к нему, обнял. Он поднял меня на руки, высокий и сильный.

Но после того случая отец запретил мне пускать змея.

Проходило золотое лето, проходило впустую для меня. Каждый вечер я поднимался на крышу и с тоской глядел на блуждающие «фонари». А золото лета таяло, уходили последние теплые дни, и тоска все сильнее захватывала меня. Как-то под вечер, когда я сидел на; крыше и смотрел на чужих змеев, в час, когда в небе бегут оранжевые струи и сливаются в одно огромное плавающее море, мать поднялась на крышу. Увидев меня, она поняла, что творится со мной, почувствовала, какой черной тоской я охвачен в этот волшебный вечер. Подошла, обняла меня за голову, спросила:

— Чего тебе, родной?

Я посмотрел на блуждающие «фонари».

На глаза мои навернулись слезы.

— Я попрошу отца, чтобы он разрешил тебе пускать змея, только не привязывай его за желоб, — сказала мать.

— Не буду.

Утром я смастерил нового змея, самого большого из всех, какие у меня были.

* * *

Один из наших молодых учителей, с которым мы, малыши, были большими друзьями, как-то объявил:

— Мальчики, едем ко мне в село.

Мы слышали, что село их раскинулось на склонах Мастара, что растут там вековые деревья, в дуплах которых может разместиться целая деревенская семья. И еще, что бьет там из-под церкви вода, и этой воды так много, что она может унести телегу вместе с волами. На виду у села, извиваясь голубой лентой, протекала Арацани.

Под вечер мы отправились в село. Шли кратчайшим путем, иногда прямо по полям. Вокруг нас золотились колосья, над головой синел звездный купол неба. Идем, шутим, хохочем, пьем воду из ручьев, прозрачных и певучих, по краям которых зеленеет трава. Чем дальше, тем ниже небо, звезды сыплются прямо в глаза. Безмолвие нарушаем только мы.

— Хотите, подождем, пока зажжется утренняя звезда? — предложил учитель.

Мы остановились.

Тишина стала еще тише, небо опустилось еще ниже.

Мы растянулись на траве.

Воздух был чист и свеж, как ключевая вода.

Ни звука, слышно лишь дыхание уснувших товарищей, и кажется, что это — вздохи золотистых колосьев.

Вдруг невесть откуда на небе появилось небольшое облачко, ослепительно-белое, и заколыхалось в лиловом тумане. Оно постепенно расплылось, поредело и растаяло, как сон.

Глаза слипаются, но я жду утреннюю звезду.

Вдруг слышу голос товарища. Открываю глаза — над полями плывет солнце.

Утро принесло в поля новые запахи, спрятавшиеся за пазухой ночи, и сизые краски. Пробудились тысячи птиц.

С солнцем проснулось все.

* * *

Каждый вечер наш ближайший сосед, Алек-ага, выходил на порог и, заложив руки в карманы, разглядывал прохожих.

Многие здоровались с ним, а он в ответ лишь прищуривал один глаз.

Было Алеку-аге лет сорок пять. Он был холостым, и не было никакой надежды, что он когда-нибудь обзаведется семьей.

Рассказывали, что родители, которых уже нет в живых, тщетно пытались женить его, но никто не хотел отдавать в их дом дочь.

Алек-ага не пил, в бедняках не ходил, характер у него был тихий, как у овечки.

Но вопреки кроткому праву, столь дорогому мамашам, у которых дочери на выданье, судьба ему не улыбалась. И всему виной — выражение лица Алека-аги, поражающее жестокостью. Дети боялись его, особенно по ночам. Даже близкие ему люди и те испытывали страх при встрече с ним. А жестокое выражение придавала лицу черная, длинная борода. Пожалуй, из-за этой вот бороды Алек-ага так и не сумел найти себе невесту.

Холостяцкая жизнь, однако, не тяготила Алека-агу, он смирился с действительностью. Но философия примирения с действительностью никак не устраивала его сестру Искуи, которая была моложе Алека-аги всего на пять лет.

До тех пор пока не женится старший брат, младшая сестра не имеет права на брак — гласил закон того мира.

— Как же может полезть в постель к мужу сестра, если брат еще не познал постели своей жены? — оправдывали этот миропорядок люди.

В конце концов Алек-ага и его ближайшие родственники пришли к выводу, что сестре надо выйти замуж, не дожидаясь, пока женится брат. Но чего она теперь стоила?

В сердце сорокалетней Искуи родилась безысходная тоска, тоска никем не обласканной женщины, обреченной на одиночество.

Шум, крик, бьется посуда — трах, трух! В этом невообразимом гвалте порой можно было услышать, как увещевает сестру Алек-ага: «Погоди, перестань, стыдно...»

Но не было больше у Искуи никакого стыда. За всю жизнь никто так и не обнял ее, не прижал к своей груди, — какой тут еще стыд?

Трах! — Искуи запустила в Алека-агу тарелку с супом, облила ему всю бороду.

Так жили в пустом, огромном доме брат и сестра. Жили и грызлись между собой.

Весной, когда корова призывно мычала и Алек-ага отводил ее в деревню, дабы успокоить, Искуи выходила из себя. Ей мало было пинков, проклятий. Она открывала дверцы шкафа, доставала старинную, дорогую посуду и швыряла в корову: тарелки переводила, чтобы отвести душу. В такие минуты невозмутимо смотрел на нее Алек-ага и говорил:

— Вот и хорошо, теперь успокоишься.

Алек-ага не был единственным холостяком на нашей улице.

Через несколько домов от него жил, хаджи-Согомон. Всякий раз, когда заходила речь об Алеке-аге, хаджи-Согомон вставлял:

— Алек-ага такой же осел, как и я.

Хаджи-Согомону было уже за сорок, голова седая, глаза косили, да и умом был слаб, зарабатывал на хлеб, латая выючные седла. То, что он не был женат, имело свои особые причины.

Одно время с его женитьбой все было на мази. И вдруг умер отец. Через несколько лет скончалась мать, а еще через два года, после того как тетка с большим трудом снова уговорила его жениться, — он попал в тюрьму. Вышел из тюрьмы хаджи-Согомон совсем сломленным.

Так прошли годы, он поседел, стал покашливать. Наконец и он, и все родичи пришли к выводу, что дальше откладывать женитьбу нельзя. И хаджи-Согомон решил жениться.

В нашем городе принято было, когда гости, приглашенные на свадьбу, расходились, и жених удалялся с невестой в отдельную комнату, все мальчишки квартала собирались под окном, где был брачный полог, и затевали злую, глупую игру. Они приносили с собой предметы, производящие как можно больше шума: пустой бочонок, бидон из-под керосина, зурну, бубенцы, две дощечки или просто два куска железа. Мальчишки прыгали, кричали, подзадоривали друг друга. К ним присоединялись все собаки в округе, которые так или иначе были заняты тем, что лаяли или выли всю ночь подряд. И вот в полночь, когда закончилось пиршество (было лето, и свадьбу справляли в саду), зажегся свет в окне спальни хаджи-Согомона, и кто-то задернул занавеску, Мальчишки подняли страшный шум. Неслыханный, дикий, варварский. Проснулся весь квартал. С постелей, разостланных на крышах, поднялись люди и в исподнем выстроились по краю крыши.

— Хаджи-Согомон!.. — кричал один. Другие подхватывали — Ха, хаджи-Согомон!.. — и все это под свирепую музыку бочонков, дощечек, железок, зурны.

— Хаджи-Согомон женится...

Остальные подхватывали, яростно шумели.

Все женихи считали подобное представление делом привычным, но хаджи-Согомон, не вытерпев этого глумления, распахнул окно и, высунувшись по пояс, разразился бранью:

— И не стыдно? Чего вам надо? Сукины вы дети!..

Хаджи-Согомон кричал так громко, что закашлялся и в бессилии захлопнул окно. На крышах поднялся хохот.

— Ослиная ты башка, не выдержал? Кто тебя просит высовываться?

И толпа проказников зашумела еще громче.

Хаджи-Согомон был доведен до белого каления, он открыл окно и завопил:

— Уходите, говорю!

— Хаджи-Согомон женится!.. — снова прокричал кто-то.

Его поддержали:

— Хаджи-Согомон женится!..

— Да, женится, а вам что до этого? Чтоб вашим родителям пусто было, негодяи! — крикнул он в ответ.

Проказники заметили, что кто-то в темноте тянет его в комнату.

— Пусти меня! — загремел хаджи-Согомон и отошел от окна. Это вызвало новый взрыв хохота.

— Эгей, хаджи-Согомон, попробуй-ка заснуть!

— Хаджи-Согомон жену себе взял...

— Хаджи-Согомон седло для жены сошьет...

— Вай, хаджи-Согомон, и впрямь женишься, да?..

Шум дощечек, скрежет железа, зурна, крики, хохот — все смешалось.

Один из мальчишек, плотный крепыш, кудрявый, с блестящими и бесноватыми глазами, вышел вперед, полная луна освещала его толстые, ухмыляющиеся губы. Он сказал:

— Ребята, никак хаджи-Согомон заснул, давайте в окно!

Несколько мальчишек бросились за ним, стали карабкаться вверх, а когда одному из них удалось дотянуться до окна и постучать по стеклу, хаджи-

Согомон резко распахнул окно и одним ударом кулака сбросил мальчишку вниз. Упавший не ушибся, но это распалило детвору. Все гуртом бросились к окну.

Внезапно хаджи-Согомон объявился на улице.

Мальчишки разбежались, но хаджи-Согомон успел схватить одного и, бросив его под ноги, стал топтать.

Невеста хаджи-Согомона, укутанная во что-то белое, жалобно голосила:

— Согомон-ага, целую ноги твои, иди в дом.

Хаджи-Согомон не слушал и продолжал колотить мальчишку.

Мужчины попрыгали с крыш, схватили хаджи-Согомона.

— Ты с ума сошел! Осел этакий, убьешь мальчишку!

— Пусть подышает.

На ребенка плеснули водой. Напрасно: он был уже мертв.

Нагрянула полиция. Хаджи-Согомона арестовали и увели.

Толпа рассеялась, воцарилась тишина. И только невеста хаджи-Согомона рыдала всю ночь напролет, причитая:

— Венец мой на пол-дороге остался...

— Эх, остался... остался, — сокрушалась соседка и утешала ее.

— Не тужи, все наладится. Бог милостив.

Так хаджи-Согомон и не женился. Еще несколько дней прождала невеста в доме у хаджи-Согомона своего жениха, а потом вернулась под материнский кров.

— Бедняжка, так нетронутой и вернулась, — судачили соседи.

* * *

Сумерки, но на улице много народу, воздух теплый. Весенние дни. Луна.

Я играю с ребятами. Вдруг — переполох. Народ собрался на одном конце улицы, все бегут, словно куры на корм.

Толпа молчит, на лицах озабоченность. Я тоже побежал.

Двое полицейских схватили нашего соседа Ншана-агу и тащат его. Ншан-ага изо всех сил отбивается.

В его руке большая корзина. Наверное, тяжелая, потому что он согнулся под ношей и у него на шее вздулись жилы.

— Что у тебя в корзине? — спрашивают полицейские.

— Виноград, — отвечает Ншан-ага.

Полицейские хохочут. Виноград весной? Ншан-ага запутался, не то сказал.

— Сушеный виноград, кишмиш, — исправляет Ншан-ага.

Полицейские требуют, чтобы он открыл корзину. Толпа бледнеет, ясно: Ншан-ага переправляет контрабандой патроны, и вот — попался.

— Какое несчастье! Его ждет тюрьма, ссылка, а то и виселица.

— Открывай корзину!..

Ншан-ага противится, умоляет отпустить его, уверяет:

— Открою, открою, только дайте в дом занести.

Но полицейские неумолимы, они раскрыли государственное преступление, их рвение будет вознаграждено.

Ншан-ага обращается к толпе и просит заступиться за него.

Никто не проявляет участия: боятся.

Наконец полицейские силой вырывают у него корзину. Раздается чей-то крик.

Открывают корзину, и из нее с воплем и плачем выбирается женщина в чадре.

Ншан-ага остолбенел, уставился застывшим, растерянным взглядом в одну точку.

А толпа начинает громко и безудержно хохотать:

— Ншан-ага женщин корзинами таскает!..

— В корзине женщина оказалась!..

— Вай, дурак ты, дурак, женщину в корзину посадил!..

Женщина хочет убежать, но полицейские хватают ее.

Толпа разделилась на две части: одна окружает Ншана-агу, другая — женщину, хлопают в ладоши, издеваются.

Ншану-аге удается вырваться из окружения. Толпа, оставив женщину, бросается за ним.

— В корзине женщину нес, поймали!..

Полицейские отпускают женщину, и та, как угорелая, пускается наутек.

Так никто и не узнал, кто она была и куда скрылась.

Ншан-ага же побежал к дому, но побоялся войти: толпа могла осадить дом.

Понесся дальше, преследуемый улюлюканьем разбушевавшейся толпы.

Потом нырнул в узкую улочку, выбежал на широкую, — толпа не отставала, все росла, и шум усиливался.

Но найдя выхода, Ншан-ага снова свернул на улочку и пулей влетел в свой дом.

Преследователи столпились у дверей, долго не расходились, передавая из уст в уста историю, где уже вместо одной женщины в корзине были две...

Посмеялись битый час, пошумели и разошлись.

Выйти на улицу Ншан-ага осмелился только через несколько дней.

10

Проходили мимо нашего дома и караваны верблюдов, те, что Шли от Междуречья до Себастии и других торговых городов Малой Азии; а осенью, когда наши сады ломились под тяжестью плодов, возвращались в бескрайние пустыни, в вавилонские и арабские города, богатые бриллиантами и камнями, сверкающими, как звезды.

Караваны привозили нам сладкие финики. С их приходом наш базар преображался. Город наполнялся мелодичным звоном бубенцов, протяжными, усталыми голосами верблюдов. Кроткие, мудрые верблюжьи глаза дышали миром, как небо пустыни. Верблюды молча взирали своими привычными к просторам глазами на стены нашей улицы, равнодушные к толпам мальчишек, которые бежали за ними, чтобы надергать шерсти на теплые носки.

Вот проходит верблюд, разукрашенный, как восточная невеста. На нем осколки зеркального стекла, бубенцы весенней звонкости, лоскуты щелка, разноцветные шерстяные нитки.

— Он — собственность караванбаши.

Хозяин каравана везет с собой семью, чтобы показать ей необыкновенные северные страны.

На спине разукрашенного верблюда — задернутые цветастым пологом носилки, которые покачиваются в такт его поступи. Лица женщин закрыты: снизу — до половины носа, сверху — до бровей; их черные глаза блестят и сверкают, как южное солнце. Женщины, полулежа на ярких подушечках, что-то жуют без конца, жуют неторопливо, с ленцой, подчиняясь ритму движения, мечтательными глазами разглядывают окна нашего города, крыши, мужчин, женщин. Верблюды покачивают их день и ночь — от вавилонских земель до малоазиатских городов и сел.

* * *

Караван собирается в путь. Подымается верблюд, взгляд устремляет на горизонт, слуга спешит приставить лесенку. Хозяин взбирается на носилки, располагается рядом с женой.

Поцелуи, звон бубенцов, ритмичный шаг каравана — все прелести путешествия.

Караван идет и день и ночь, останавливается, лишь что бы разгрузить товары, поторговать.

Когда караван вступал в город ночью, песня его бубенцов звучала особенно нежно. Караван приближался медленно, таинственно. Полусонные хозяева покачивались в однообразном его ритме, пока он не останавливался на одной из городских площадей. А когда покидал город — оставлял в нашем звездном синем небе перезвон бубенцов.

* * *

На одной из площадей города вот уже три дня как расположился чей-то караван. Острый запах верблюжьей шерсти, войлочных одеял, усталые вздохи и спокойные глаза верблюдов, низенькие шатры погонщиков. По вечерам горят костры. Погонщики кормят своих верблюдов и без конца поглаживают им бока. Люди эти почти никогда не смеются. Едва заметная улыбка быстро гаснет на их лицах, но взгляд исполнен огня, лучится, обжигает, в нем зной и спокойствие песков.

Караван наконец собрался в путь. Жалобный, тоскливый крик верблюдов объял весь город.

* * *

Но один из верблюдов не поднимается, он лежит себе.

Сбегаются погонщики, заглядывают ему в глаза и понимают: верблюд заупрямился. Бледнеет погонщик, ходивший за ним, — он боится хозяйского гнева, Верблюд не простил ему какой-то обиды. Подходит караванбаши и говорит погонщику:

— Останешься с ним, пока не пройдет эта дурь, потом догонишь.

Погонщик повинуется. Караван звенит бубенцами. Упрямый верблюд поворачивает голову, долго смотрит ему вслед, издает глубокий жалобный вздох. Хозяин останавливает караван: может, верблюд одумается? Как бы не так, — он лежит и ни за что не хочет сдвинуться с места. Караван продолжает свой путь к Междуречью, в вавилонские и арабские пустыни.

Погонщик упрямого верблюда расстилает войлок, заворачивается в абу и укладывается спать в надежде, что наутро верблюд отойдет, забудет обиду, и к вечеру можно будет догнать караван.

Но проходят дни, а верблюд остается верен своему животному упрямству.

Погонщик уже устал уговаривать его.

Осенние холода не на шутку встревожили южанина-погонщика. Запас еды иссяк. Нет никого из знакомых, чтобы обратиться за помощью, приходится есть заготовленное для верблюда жидкое тесто и давать понячь мальчишкам, выщипывающим шерсть с верблюжьего зада, что если они принесут хлеба, он сам нащиплет им шерсти.

Через несколько дней на верблюде не осталось и клочка. Погонщик продал с него всю шерсть.

Мерзнет теперь и верблюд, этот герой пустыни.

И голодают они оба, хоть мальчишки и таскают им хлеб и остатки еды.

Несколько здоровых парней наконец взялись помочь человеку пустыни.

— Если подыметесь, тогда уж пойдет, — решили они.

Принесли два бревна, с большим трудом просунули верблюду между ног и стали поднимать его с земли. Подняли. Все были рады, а погонщик не в силах был сдержать свой восторг: блаженно улыбался, обнимал всех. Но через минуту-другую верблюд зашатался, опустился на колени. Погонщик впал в отчаяние.

— Ну и упрямец — удивлялись парни.

В этот день закружился первый снег, он таял, не достигая земли, потом стал садиться на наши одежды... О, эти белые снежинки! В них тончайшее искусство природы, более тонкое, чем искусство человека.

Мы любовались первым снегом, а человек пустыни... Для него ничего не могло быть страшнее этих белых снежинок.

В наш восторг, вызванный первым снегом, вплелась скорбь человека пустыни. Смотрел и верблюд на эти странные белые хлопья и резким движением то и дело стряхивал их с головы.

И вдруг погонщик опустился перед ним на колени, закутался в абу и заплакал. Чтобы как-то утешить его, мальчишки принесли ему хлеба. Но он продолжал плакать. Слезы катились из глаз, терялись в жиденьких усах и бородке.

Верблюд уставился на погонщика немигающими глазами, словно хотел проникнуть ему в душу.

Вдруг верблюд вытянул шею, простонал жалобно, вздохнул несколько раз и стал подниматься.

Мы закричали:

— Встал, встал дэв!

Погонщик вытер слезы, собрал принесенный нами хлеб, навьючил верблюда и пустился в путь, улыбающийся, радостный.

Прохожие останавливались и с любопытством смотрели на упряма-верблюда, который, жалобно стелая, покачивался, уставившись куда-то вдаль.

Погонщик махал прохожим рукой, ловил монеты, которые они бросали, и спешил, спешил в пески — к жаркому солнцу юга.

Он удалился из нашей страны, где уже вслед за багрово-желтой осенью наступала суровая зима.

* * *

Осень уходила из наших мест поздно, задерживаясь, чтобы бедняки успели собрать опадыши, чтобы высохли разложенные на крышах фрукты.

Только осенью мы чувствовали всю прелесть солнца: она грело нежно, приятно.

Деревья в нашем саду делались желтыми, и багровые листья величиной с ладонь, лениво перевертываясь в воздухе, вспыхивали огнем в последних лучах солнца.

Начиналась борьба — схватка осеннего ветра с солнцем. И солнце уступало в конце концов ветру, который постепенно оборачивался жестокой стужей.

Наступала лютая долгая зима. Снег валил огромными хлопьями, покрывал улицы, сугробы поднимались до самых окон, потом — до крыш, дома зарывались в снегу.

И тогда двери закрывались, и люди входили в дом через слуховое окно.

Засыпав улицу, снег на время переставал идти. Жестокий мороз сковывал и уплотнял его, и он скрипел под ногами прохожих. По этому скрипу мы точно определяли, кто идет.

— Это Киракос-ага, — говорила мать. — Только куда он собрался в такую пору, не заболел ли кто? Ведь он уже тридцать лет зимой из дому не выходит.

Наутро мать посылала кого-нибудь из слуг к Киракосу-аге, узнать, в чем дело.

— Кланяйся матери, скажи, ничего страшного: у ребенка живот разболелся и Киракос-ага пошел за лекарством.

— Слава богу, — от смерти только избавления нет, все прочее — пустяки, — философски замечала она.

Стужа держалась месяца три.

В бедных домах в эти месяцы вязали, обрабатывали хлопок, а в богатых семьях ели-пили, полнели, нагуливали жир, становились ленивыми, Сопливыми,

разговаривали нехотя, спали до одурения и просыпались разве только для того, чтобы пожевать и снова завалиться спать..

Зимой многие женщины нашего дома налегали на соленья — в семействе ожидалось прибавления.

Начиналась очередная шумная возня на женской половине, потом крик роженицы сменялся воплем новорожденного. В каждой комнате, из каждого угла слышался плач. Через кухню пройти было невозможно: на уровне человеческого роста были протянуты веревки и на них висело детское белье. Ни разу за шесть месяцев не пустовали эти веревки, белье стиралось без конца и вывешивалось одно на другое — веревок не хватало.

Отец отчаивался: на улице — стужа, снег, дома — постоянный писк.

— Какое сегодня число? — справлялся он каждый день. И радовался, когда отвечали:

— Тридцатое.

— Еще месяц прошел, — вздыхал он с облегчением и начинал готовиться к отъезду. Спасался от детского крика он в Стамбуле. Уезжая, брал с собой список детей, чтобы никого не забыть, всем привезти подарки. Затем мать высылала ему дополнительный список новорожденных — часто преувеличенный.

— Чем больше привезет, тем лучше, — говорила она, — пригодится.

По возвращении отец передавал матери полный сундук покупок и ни во что больше не вмешивался. Было принято, что в знак благодарности женщины нашего дома с детьми на руках, одна за другой, подходили и прикладывались к его руке. А отец, довольный, улыбался и целовал детей.

* * *

В Ова Баглари был у нас сад.

Ова Баглари — прилегающая к городу огромная территория, занятая садами. Осенью, когда начинался сбор урожая — винограда и миндаля, хозяева садов переезжали на десять — пятнадцать дней туда, разбивали шатры и разводили костры, ибо по ночам сильно холодало.

В эту пору Ова Баглари, если смотреть с горы, напоминала пылающее небо. Вокруг костров пели, танцевали. Даже девушкам разрешали в эти дни петь и танцевать. Костры горели ярко, освещая лица молодых. В эти дни многие девушки находили своих суженых. Молодые по ночам исчезали за большими виноградными лозами с красными, налившимися гроздьями, и там разжигали вечный костер любви.

При тихом свете луны, плывущей в холодной ночной синеве, сливались губы влюбленных, души наполнялись счастьем. Юноша обнимал девушку, и казалось ему, что он обнял всю природу, землю со всеми ее дарами; казалось, он заключил в объятия не просто Заруи, а разгорающийся жаркий костер.

— А эти куда скрылись? — слышится голос.

Юноша и девушка замирают, крепче прижимаются друг к другу... Природа осенняя, исполненная живительных соков, растревожила их, опалила им души...

И после сбора урожая родители юноши торжественно идут к родителям девушки.

В доме у девушки никто не знает истинной цели визита, знает только она, потому что юноша оставил ей на крыше записку: «Вечером отец и мать придут просить твоей руки, не стыдись, скажи им: „Хочу за него“».

— Коли нас спросите, мы согласны, да вот захочет ли девушка? — отвечают родители.

И в полночь мать спрашивает:

— Заруи, ты слышала, руки твоей просят.

Дочь не отвечает, краснеет.

Мать передает мужу разговор с дочерью, — так, мол, и так...

— Э, отдадим, пусть берут, — решает отец.

Родители, таким образом, уже решили выдать Заруи замуж, но с окончательным ответом медлят, — так принято. Бывает, проходит месяц, а дочь все еще уговаривают как будто... Но когда родители невесты наконец давали согласие, ритуал обручения следовал тотчас за согласием.

Но случилось, что любовь, вспыхнувшая под гроздьями винограда, решительно отвергалась родителями несчастных влюбленных, — небо заволакивалось черными тучами, назревала беда. Мольбы и слезы влюбленных встречали каменное сопротивление родителей.

И тогда страшная весть потрясла городок: юноша бросился с крыши, девушка отравилась.

11

В наших краях не существовало никакого государственного или общественного учреждения, опекающего умалишенных. Сумасшедшие были в большинстве своем местные жители, хотя попадались среди них и иногородние, деревенские, и такие, что забыли даже, откуда они родом. Многие из них, сдается мне теперь, могли бы избавиться от мучившего их недуга. Но, выброшенные на улицу, безнадзорные, преследуемые невеждами и толпами мальчишек, издевающихся над ними, они становились неизлечимыми.

Провинциальное мещанство, готовое за нарушение устарелого, нелепого обычая, во имя сомнительной морали вздернуть человека на виселицу, само было настолько порочно, что не находило в себе даже капли сострадания к ним. Мещанство ликовало, когда мальчишки и невежды своими злыми шутками доводили несчастных до иступления.

* * *

Помню парона Багдасара, учителя. Это был рослый человек, с длинной густой бородой и черными густыми бровями. Свела его с ума любовь к дочери квартального. Он просил ее руки, ему отказали: «учителишка, рыцарь пустого желудка». И вот, униженный, в черном французском рединготе, он оказался на улице.

— Парон Багдасар пришел! — кричали зеваки.

И парон Багдасар пускался наутек, как сбросивший всадника конь, с глазами, полными ужаса. Он бежал, то и дело оборачиваясь, тяжело дыша. Отовсюду — из дверей, из окон, с крыш — гоготали и орали:

— Парон Багдасар пришел!..

Как жил этот отверженный, где ночевал, — никто не знал в точности. Обросший, с длинными ногтями, грязный, он внушал мне страх. Даже теперь, как вспомню его, мороз пробегает по коже.

Другой сумасшедший, запомнившийся мне, был турок. Обычно тихий человек, нормально разговаривавший на любую тему, он вдруг приходил в ярость и начинал крушить все, что попадалось ему под руки. Чтобы он рассвирепел, достаточно было кому-нибудь прошептать в его присутствии — «фст». В отличие от парона Багдасара, турок был жесток, поэтому многие обходили его стороной. Когда он выходил из себя, то избивал людей, опрокидывал лотки с товаром, громил витрины. Потом ярость его стихала. Но всегда находился какой-нибудь наглец, который подходил к нему с тем же «фст». И все повторялось снова, только в более свирепой форме.

Была и сумасшедшая девушка: уродливая голова, волосы растрепаны, подол всегда задран, пятки черные от грязи, в садинах. Она смеялась в лицо каждому встречному отвратительно и громко.

Если отец, придя домой, отказывался обедать, это означало, что ему встретилась сумасшедшая девушка.

Был и такой полоумный: в глубоком раздумье, заложив руки за спину, ходил он взад-вперед по улице. Никогда не обращал внимания на улюлюканье зевак, лишь изредка останавливался, иронически улыбался им и вновь погружался в свои мысли. Этот краснощекий и рыжий толстячок был не из местных, и никто не знал толком, откуда он взялся.

Если кто-нибудь давал ему хлеба, он подзывал собак, крошил им весь кусок, смотрел, как они подбирают крошки, потом хмурил брови и продолжал вышагивать взад-вперед.

Умалишенные... Разные были они, и число их все росло, но никто не сочувствовал им, никто не задумывался над тем, что надо учредить опеку над ними. Помню, приехал кто-то из Америки и сказал, что там этих несчастных содержат в особых домах. Все удивились.

— Ну и страна же эта Америка!..

Как-то отец, рассердившись, крикнул: «Сейчас сойду с ума!» Я ужаснулся, тотчас представив, что и мой отец может очутиться на улице!..

Сумасшедшие... Много было их у нас.

Один с виду вроде был нормальным, но, боже, семь лет не вынимал рук из карманов. Сжал в кулаки и не вынимал. Собрались как-то здоровые ребята и силой выдернули ему руки из карманов: деформировались совсем, помертвели. Кормили его дочери и сын.

Другой поднимался каждый день на высокую крышу и, свесив ноги, грозился броситься вниз. Никто к нему не подходил. В конце концов, как-то, потеряв равновесие, он так и свалился с крыши трехэтажного дома и расшибся насмерть.

Бывали такие, которые своих больных не выбрасывали на улицу, заботились по-своему: связывали по рукам и ногам, волокли на чердак, нанимали верзилу с дубиной и вправляли несчастному мозги...

12

Однажды летом объявился в нашем городе странный человек: босой, с непокрытой головой, одетый в лисью шкуру, спускавшуюся до колен. В руке — длинный железный посох, через руку — кожаная сума на тонкой цепочке, сам смуглый, как араб или индус, с жиденькой, но симпатичной бородкой, родинкой на лбу и красными губами. Человек этот не говорил, бродил и собирал подаяние, преимущественно — деньги. Прошел слух, что волей аллаха через семь лет он обретет дар речи и свой последний завет аллах передаст человечеству его устами.

Но как стала известна эта история, если он был нем, — никто не знал. И загадочный пришелец стал предметом всеобщего уважения. Уважение к нему переросло в почитание, когда заметили, что он к тому же бескорыстен: если подношение не вмещалось в его небольшую суму — не брал, каким бы драгоценным оно ни было. Таким образом, люди вынуждены были подавать ему только деньги, порой золотые монеты. Ночи проводил он на турецком

кладбище, в палатке, в которой горел слабый огонек. Говорили, что по ночам он молится и никогда не спит. Но откуда это было известно?

Он был обречен на семилетнее молчание, на существование без сна и отдыха, через семь лет он должен был сообщить человечеству новое слово, которое скажет ему аллах.

Каждый день взбирался он на минарет мраморной городской мечети, простаивал там целый час, уставившись в небо и сложив руки на груди. Внизу у мечети в этот час собиралась толпа, рождались легенды: с аллахом говорит, аллах рядом с ним стоит, да только нам, грешным, не дано узреть его.

Многие предполагали даже, что там, наверху, лишь образ странного человека, а сам он вознесся к аллаху и скоро воротится.

Но городские жулики не дали людям дожидаться последнего завета аллаха. Прикинув, что под лисьей шкурой святого человека, должно быть, уже набралась солидная сумма, как-то ночью напали на него и отняли суму.

Воров не поймали, но выяснилось, что этот святой, онемевший волей аллаха, обзывал грабителей последними словами и ни за что не хотел расстаться со своими деньгами. Всю мелочь, какую подавали ему, он обратил в золото, — воры не обнаружили у него ни одного медяка.

На другой день после ограбления человек этот исчез. Куда он подался, что с ним случилось, — никто так и не узнал.

* * *

Расскажу, кстати, и о другом случае.

Занесло к нам в город самого что ни на есть настоящего американца. Звали его мистер Джейкоб. Был он миссионер-протестант, приобщал христиан к святому духу.

Ни больше и ни меньше как к святому духу. Как он это делал?

Собирал протестантскую общину, читал ей наставления на английском языке (у него был переводчик), молился, закрыв глаза и воздев руки к небу, потом просил соблюдать несколько минут строжайшую тишину и, наконец, вопрошал:

— Кто проникся святым духом, пусть встанет.

На первых его собраниях вставали немногие, но потом святым духом проникались оптом.

Никто не мог объяснить, что он чувствовал в эти минуты, но, чтобы не отстать от других, вставал.

Те, кто исполнились святым духом, высыпали в шкатулку мистера Джейкоба все имевшиеся у них деньги. Шкатулка была вместительной.

Нашлись протестанты, которые решили покончить с этой игрой мистера Джейкоба, но они не встретили поддержки у остальных и вскоре сами потянулись к нему.

Целый месяц в городе только и было разговоров, что о святом духе. Нашлись и протестанты-ханжи, переставшие знаться с теми, кто еще не приобщился, они даже не здоровались с ними. На этой почве возникали семейные неприятности, разлады (родители или только муж приобщался, а сыновья и дочери противились, либо наоборот).

— Завтра пойдешь, и безо всяких там отговорок, — приказывал, скажем, муж жене.

Разгорался спор, и муж хватал палку или туфлю и начинал колотить жену.

Те, кто вначале подтрунивал над приобщившимися, сами шли к мистеру Джейкобу и теперь уже смеялись над другими.

Приобщившиеся не открывали больше своих магазинов. Перестали торговать, ибо занятие даже самым простым ремеслом считалось делом греховным.

Если магазин, до того еще бойко торговавший, наутро был на запоре, всем было ясно: хозяин приобщился.

В таких случаях в соседних магазинах шушукались:

— Приобщился, осел...

— Ну и ну...

Комедия приобщения к святому духу приняла такие размеры, что протестант, проходя мимо дверей другого протестанта, стучался в дверь и во всеуслышание спрашивал:

— Приобщился, Мурад-ага?

— Ты что, только очнулся? Дней восемь уже... Эх ты, осел.. — отвечал Мурад-ага.

— А я еще нет.

— С ума ты сошел! Завтра же пойдешь, стыдно.

Младшая сестра моего отца была замужем за протестантом. Она приобщилась одна из первых. И вот пришли к отцу моему с известием: «Сестра Ехо приобщилась...»

— Позовите ее сюда, — велел отец.

Пошли за сестрой, вместо нее явился зять:

— Хаджи-эфенди, она боится идти.

Отец в ответ:

— Какого черта она приобщалась, если боится, — и отпустил в адрес Джейкоба крепкое ругательство.

Наконец особо упорствующих уже можно было пересчитать по пальцам. Для них мистер Джейкоб, если верить безнадежным грешникам, прочитал последнюю молитву и, собрав деньги, уехал с полной сумой, положив тем самым конец первому действию комедии. После его отъезда началось второе действие. Приобщившиеся, увидев, что доходы их семей сократились, отложили в сторону Библии, с которыми не расставались ни на минуту при мистере Джейкобе, и один за другим стали открывать свои магазины. Лавки начали торговать, — последовали уличные скандалы. Тех, кто проникся святым духом, зло высмеивали. Просвещенные церковники, пользуясь моментом, исподтишка натравляли торговцев друг на друга.

— Ну что, явился к тебе святой дух?

— А как он выглядит, твой святой дух? Он что, рогатый?..

— А может, святой дух — дьявол?..

Среди приобщившихся были такие, которые сносили издевки с гордым смирением, называя их «муками господними». Помнится, один из них, молитвенно сложив руки, вопил:

— Иисус Христос, твоим путем иду!..

Чтоб избежать насмешек, многие не торопились открывать магазины: выжидали, пока толпа утихомирится. Но толпа долго неистовствовала.

Через месяц пришла весть, что мистера Джейкоба где-то между Тигранакертом и Мосулом убил нечестивый злодей.

Когда об этом сообщили отцу, он сказал:

— Это не самое большое зло.

* * *

Протестанты... Как создалась их община? Каждый, кто таил в себе какую-либо обиду против священника, дьякона или даже звонаря, вступал в общину и становился «отступником».

Был у нас плотник, повздорил он раз как-то со звонарем григорианской церкви и его женой (они были соседями) — и ушел в протестанты. Звали его Мамбре. — Господи, — роняя лживые слезы, молил он, — испепели наши души своим священным огнем.

Как только человек принимал протестантство, его начинали звать пароном. Так вскоре нашего братца Мамбре стали все величать пароном Мамбре.

Немец, герр Эйман, открывший колледж в нашем городе и энергично ратовавший за обращение горожан в протестантство, очень полюбил парона Мамбре, взял его к себе на работу, определил ему хорошее жалованье. Как-то Мамбре вышел на улицу в европейском костюме (подарок Эймана). Появись он в римской тоге, — не показался бы столь смешным К новому костюму не подходили висячие усы. Он их сбрил. Однако парон Мамбре не хотел останавливаться на достигнутом. Решил же он нечто странное. Но самое странное было то, что это решение взялся претворить в жизнь.

И вот, в воскресенье, после моления, парон Мамбре с идиотским выражением на лице (такое выражение было признаком независимости протестантов) вошел к герру Эйману в кабинет и подавленным голосом заявил:

— Герр Эйман, я очень сожалею, что родился армянином.

Герр Эйман в ответ на это плюнул парону Мамбре в лицо, а на другое утро уволил с работы. Плотник крепко просчитался: был уверен, что герр Эйман, дабы утешить его, повысит по службе, а получилось... Он еще несколько недель усиленно молился, не пропуская собрания. Но герр Эйман был неумолим. Тогда он понял, что от протестантов — проку никакого. Скинув обнову, в старом облачении мастерового он вернулся в лоно григорианской церкви. Его первое появление в церкви было весьма примечательным: в течение всей службы он громко и истошно молился, рыдал, целовал ковер, сопровождая все это выкриками: «О господи, прости меня, осла грешного. О господи!»

После службы Мамбре самым торжественным образом помирился со звонарем и его женой, принеся им свои извинения. Европейский костюм герра Эймана он отдал какому-то сельскому учителю, открыл опять лавку, отрастил усы и с радостью стал принимать прежних заказчиков.

Порой, когда в шутку его называли пароном, Мамбре посмеивался: «Оставьте, ради бога, как вспомню, мороз по коже продирает».

13

Был у нас родственник, очень дальний, которого звали зять Манук (и не мы одни, весь город звал его так). Худой, костлявый, долговязый человек, с маленькими, синими, глубоко запавшими глазками, настолько маленькими, что тетушка со стороны отца говорила: «Они у него шилом проколоты». Всякий раз, как зять Манук появлялся в нашем доме (надо сказать, что случалось это редко), взрослые с явным страхом косились на него. Тетушка шипела:

— Принесла нелегкая.

Зять Манук не обращал внимания ни на косые взгляды, ни на эти слова.

Посмеиваясь, он спрашивал:

— Ну, как живете-можете?

Ему не отвечали.

Долгую паузу прерывала тетушка:

— Зять Манук...

Зять Манук тотчас перебивал ее, потому что по тетушкиному тону понимал, о чем будет речь.

— Знаю, знаю, что скажешь, помолчи...

Тетушка замолкала, да и не могла иначе: зять Манук был остер на язык и умел говорить беспардонные вещи.

Мы, малыши, любили зятя Манука, потому что он слыл человеком бесстрашным и рассказывал нам героические истории.

— Буран, значит, ни зги не видно, а мы сами на вершине горы, и вокруг нас волки...

Он рассказывал, а мы слушали, затаив дыхание. Только прервет рассказ, — мы хором:

— А что дальше, зять Манук, что потом?..

И он продолжал с жаром и воодушевлением. В такие минуты глаза его увеличивались так, что можно было разглядеть, что они синие.

Постепенно мы стали понимать, почему взрослые его сторонятся.

У зятя Манука не было магазина, и никаким ремеслом, в обычном смысле слова, он не занимался. Однако жил безбедно. Деньги он добывал тем, что обкрадывал похороненных на турецком кладбище покойников. Турки умерших заворачивали в саван — кефин, а кефин этот был из шелка или из другой дорогостоящей материи. Зять Манук кефинов продал много.

Представьте себе человека, который один-одинешенек идет ночью по кладбищу, подходит к свежей могиле, вытаскивает покойника, бросает на землю, разматывает кефин, затем водворяет покойника на место, направляется к ограде и, перемахнув через нее, идет домой и спокойно ложится спать.

Узнав эту тайну зятя Манука, мы прониклись большим уважением к нему, хотя с тех пор и мы при виде его испытывали некий мистический ужас.

Когда домашние уговаривали его оставить это дело и стыдили, он отвечал:

— Ремесло у меня простое, мужицкое.

Было у зятя Манука и другое достоинство; он умел искусно имитировать собачий лай. И этот талант не раз выручал его на кладбище. Заслышав шаги или голоса, он поднимал страшный лай, и люди в ужасе разбегались. Даже армяне, жившие неподалеку от кладбища, услышав среди ночи этот лай, покрывались холодным потом, крестились:

— Опять он могилу раскапывает, о мать божья!..

Когда мимо окон зятя Манука проходила похоронная процессия, он скалил зубы и цинично замечал:

— О, мой хаджи-Мустафа к аллаху отправился, сегодня же раздену тебя, налегке скорей дойдешь...

И укладывался спать, чтобы ночью чувствовать себя бодрым.

* * *

Был у зятя Манука осел. Долгие годы служил этот осел своему хозяину. А когда состарился, хозяин решил продать его. Многие уговаривали: отпусти ты его на все четыре стороны. Но зять Манук продал осла. Все диву дались, отец сказал:

— Такого осла мог купить только осел.

Спустя восемь дней покупатель подал в суд — просил сделку считать недействительной, так как, — писал истец-покупатель, — осел не переваривает овса и, стало быть, вот-вот околеет.

— Что я, подрядился чужих кур кормить? — возмущался жалобщик.

Присутствующие на суде уже решили было, что зять Манук влип. Но зять Манук нашелся с ответом:

— Я осла продавал, а не мельницу.

Суд нашел претензии покупателя необоснованными и вынес решение считать сделку состоявшейся.

14

Полна странностей была жизнь на старой римской дороге, и еще более странными были армяне, возвратившиеся к нам из Америки. Они привезли с

собой лишь внешний лоск, английские слова да искривленные рты: выговаривая слова, как английские, так и армянские, они кривили рты.

Взять хотя бы нашего знакомого, оболтуса Ованеса, который по возвращении из Америки почему-то вдруг стал пароном Ованесом. Говорил он по-армянски так, словно издевался над родным языком, казалось, что-то очень горячее перекачивал во рту.

— Ты смотри, как он английский выучил, даже по-армянски говорит как по-английски... — удивлялись местные простаки.

Составив себе представление об английском языке по «английскому» произношению неуча-миссионера и вернувшихся из Америки армян, я прямо-таки возненавидел этот язык. Позже, когда мне пришлось овладеть английским и получить американское образование, я понял, что совсем не обязательно кривить рот, когда говоришь на языке Шекспира, Диккенса и Байрона.

Это гримасничанье армян из Америки продержалось всего несколько лет: изнашивалась заокеанская одежда, забывались и заокеанские замашки. Нелепое «собак лайт» сменялось простым и понятным — «собака лает».

Отличались «возвращенцы» еще одной особенностью: у всех были золотые зубы, у всех без исключения. Золотые зубы считались у нас таким шиком. Только благодаря этим золотым зубам «возвращенцам» удалось отхватить самых красивых девушек города. Жертвой золотозубого стала и моя старшая сестра. Мне не хотелось бы рассказывать эту историю, — так больно вспоминать ее даже спустя столько лет...

У оболтуса Ованеса было два золотых зуба. Из всех «возвращенцев» только ему не удалось подыскать невесту, во-первых, потому, что, переоценив свои зубы, метил он слишком высоко, и еще потому, что был оболтусом.

Через несколько лет по возвращении из Америки на лице оболтуса Ованеса появились морщины: слишком уж часто он смеялся, разевая рот, чтобы каждый имел возможность полюбоваться его зубами.

— Парой Ованес, хлеб купил? — спрашивали его.

— Да, купил, ха-ха-ха-ха.

— Как поживаешь, парон Ованес?

— Отлично, хи-хи-хи.

Или скажет ему кто-то: «Дождь идет».

— Да, дождь идет, ха-ха-ха.

Оболтус Ованес умер. Часа два хватался за живот, кричал, кричал и умер.

— Травы какой-то наелся, не переварил, — шушукались в толпе.

Смерть закрыла ему рот и, естественно, зубы его уже не обозревались. Родня же решила, что на похоронах зубы обязательно должны быть видны. Но как ни пытались раздвинуть губы, ничего не получалось. Задумались: что же делать?

— Как же так, чтобы и золотых зубов не было видно? — беспокоилась тетушка.

Родня спрашивала совета у всех подряд, но никто не мог помочь горю. Выручил один из родственников покойного: раздвинул ему губы двумя спичками и чуть прикрыл их усами.

На похоронах старая тетушка рыдала и причитала:

— Мир праху твоему, золотым зубам твоим!..

И оболтус Ованес, поблескивая золотыми зубами, словно смеялся ей в ответ.

* * *

Жила по соседству с нами семья: мать, сын и дочь. Говорили, что был когда-то в этой семье и отец, но уехал в Америку. И с тех пор о нем ни слуху ни духу. Сын Овсеп родился спустя два месяца после его отъезда. Мать писала мужу — ответа не получала. В конце концов потеряла всякую надежду на его возвращение. Стирала людям, не брезговала никакой работой, вырастила, поставила на ноги детей. И дочь и сын окончили школу, стали учительствовать, освободили мать от тяжелого труда. Жили они скромно, по-своему счастливо.

И вот в один прекрасный день объявился в их семье человек — согбенный, седой, костлявый, с надсадным кашлем. Мать приняла его и сказала детям, что это их отец.

Брат и сестра встретили его холодно, но с уважением.

А через несколько дней весь квартал облетела страшная весть — «Овсеп убил отца». Весть подтвердилась, Овсеп и вправду разбил отцу голову.

Хотя факт был налицо, все же никому не верилось, что Овсеп, этот добрый, умный, спокойного нрава юноша, мог совершить убийство.

— Он не то что отца, даже петуха не мог бы зарезать, — говорили соседи.

Овсепу увели в тюрьму, и через месяц состоялся суд. Многие, однако, выяснилось еще до суда, и чуть ли не весь город взял Овсеп под свою защиту.

Суду были поданы ходатайства и петиции, лучшие адвокаты предложили Овсепу бесплатно свои услуги, но он заявил, что обойдется без защитников.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Отец Овсепу, парон Джон (так его звали в Америке), по возвращении домой, вдруг обвинил жену в измене и недостойном поведении в годы его отсутствия. Овсеп и сестра заступились за мать, заявив парону Джону, что мать их честная и всеми уважаемая женщина и что если даже провинилась бы она перед ним, то парон Джон не имел бы права осуждать ее, поскольку оставил на ее шее двоих детей, а сам уехал бог весть куда и не только не оказывал семье денежной помощи, но даже не интересовался ею.

Однако парон Джон упорствовал, у него есть, мол, доказательства, и он должен проучить жену. Подряд два или три дня сын и дочь старались унять, усовестить упрямого и потерявшего стыд отца, но тщетно. На четвертый день распоясавшийся парон Джон схватил чугунный утюг и запустил им в жену — метил в голову, но, к счастью, промахнулся, попал только в ногу.

Овсеп с сестрой и после этого продолжали увещевать его, но парон Джон так обнаглел, что выхватил из кармана привезенный из Америки револьвер... Тогда Овсеп стиснул отца в могучих руках, отнял оружие и, после

яростной борьбы, хватил его головой об стену. Овсеп убил родного отца, которого несколько дней назад увидел впервые.

Выяснив обстоятельства дела, общественное мнение ополчилось против убитого и встало на защиту безвинного преступника.

На суде Овсеп говорил о горькой доле своей матери. И это растрогало всех — и судей, и присутствующих. Овсеп рассказал, как стирала его мать день и ночь, как кровоточили ее вспухшие пальцы; рассказал, сколько богатых и молодых людей просили ее руки, а она всем отказывала, чтобы не узнали ее дети, что такое неродной отец. И после всего этого какой-то незнакомый человек, какой-то парон Джон, входит в их семью, чтобы отравить им жизнь...

Суд оправдал Овсеп.

Когда Овсеп вернулся домой, мать обняла его и, обливаясь слезами, сказала: — А ведь мог бы жить с нами по-человечески...

Овсеп не захотел больше оставаться в нашем городе, взяв мать и сестру, он переехал в другой город, чтобы ничто не напоминало о случившемся.

15

Я раскрыл еженедельник «Восточная печать», издаваемый в Смирне. Раскрыл у почтового окошка, где мы получали письма и газеты (тогда писем не разносили), и под одним стихотворением прочел свое имя. Мне показалось, что оно набрано золотыми буквами. И еще показалось, что я оторвался от земли и куда-то лечу.

К стихотворству влекло меня давно, я писал для нашей школьной газеты, редактировал рукописные журналы, но в настоящей печати стихи мои не появлялись. Мать, заставляя меня по ночам за чтением и сочинительством, говорила: «Ложись спать, не выйдет из тебя Погос-Петрос». Это означало — не выйдет писатель. После опубликования этого стихотворения я не загордился, нет, только на какое-то время почему-то чуть посерьезнел и сказал матери: «А ты говорила, не выйдет из меня Погос-Петрос. Выходит, ошиблась?» Конечно, мать не могла оценить мои писания, однако, питая величайшее почтение к печатному слову, улыбнулась и поцеловала меня.

Моя комнатка... Моя маленькая, с отдельной лестницей комнатка находилась между вторым и третьим этажами и вся была забита картинами, книгами, преимущественно поэтическими. Два ее оконца смотрели на крышу второго этажа, из них я видел только верхушку соседского тутовника и просвечивавший сквозь его листву кусочек неба. В этой комнатке я написал свое первое стихотворение, читал Дурьяна, Мецаренца и плакал над их стихами.

Мецаренц был кумиром провинциального юношества. Мы ненавидели кучку бездарных сочинителей, травивших нашего Мисака, писали ему теплые письма, ободряли его. Я получил в дар от Мисака «Новые стихи» и, признаюсь, прямо-таки сиял от счастья. Часами смотрел я на его портрет и повторял без конца: «И тронет рябь морская гладь моей души». Мне очень хотелось уподобиться Мисаку — отпустить бороду, но, увы, на моих щеках еще не пробивался даже пушок. Я мечтал, чтобы первая моя книга была напечатана, как «Радуга» на той же бумаге, того же формата, в такой же, как она, обложке. Мечта моя сбылась. Но увы! Книга не произвела никакого впечатления. И тогда я понял, что есть нечто такое, что изнутри озаряет книгу, нечто присущее Дурьяну, Мецаренцу и не присущее мне. Моя первая книжка стихов дорога мне тем, что посвящена памяти Мецаренца, — дар, верно, недорогой, но тогда он заключал в себе все мое сердце. Годы спустя, когда в Полисе я поцеловал холодный камень могилы Мецаренца, мне почудилось, что Мисак заговорил со мной, заговорил о своей тоске по солнцу.

Чудесный певец оттенков спал посреди бесцветной равнины.

Теперь я уже не тот, я взрослый, а ты остался юношей, Мецаренц. Теперь руками взрослого и с нежностью взрослого я ласкаю твою юную, прекрасную голову, и льются слезы на книгу твоих стихов.

Когда мне холодно в этом мире, великий юноша, я прижимаю к сердцу книгу твоих стихов, твои песни, и солнце, воспетое тобой солнце, согревает мою душу.

Были у нас и соседи-турки. Я и Шемси, сын нашего соседа-турка, выросли вместе. Как два брата, поклялись мы друг другу в верности, делились сладостями, вместе купались, вместе плакали и вместе дразнили его старшую сестру (она была старше Шемси года на два).

В противоположность Шемси — черноволосому, чернобровому, с глазами-угольками — Саней, его сестра, была такая светлая, что казалось, будто она соткана из воздуха. У них в саду росла большая акация, и я часто сравнивал Саней с этим светлым деревом. Говорила она немножко в нос, и мне это до того нравилось, что хотелось, чтобы все девушки говорили в нос, как она. Она, видимо, это чувствовала и была благосклонна ко мне. Шемси же вечно подтрунивал над сестрой.

О, смех Саней — срывающийся с небес голубой журчащий ручей...

* * *

Иногда мы с Шемси ссорились из-за пустяка. А то и без всякой причины. Он мне: «Ты гяур!», а я тут же: «Ты ит». Словам этим выучились мы еще в детстве.

В нашем городе турки звали армян гяурами, а армяне турок — итами.

Бывало, придут к отцу турки, ой угостит их как дорогих гостей, проводит с почтительными поклонами, но, глядя им вслед, непременно буркнет — «иты».

Любому турку, обозвавшему меня гяуром, я отвечал — ит, кроме Саней. Саней была как цветок акации, благоухающий в весенней ночи.

Увидев на улице закованного в цепи армянина, подгоняемого стражниками, армяне проходили, опустив головы, турки же останавливались, ликовали.

Я наблюдал и такое: несут по улице гроб турка, «иты» плачут, а армяне, подняв глаза к небу, шепчут: «Слава тебе, господи». Радовались, что одним стало меньше.

Почему это было так, я не мог уяснить себе, знаю только, что во мне невольно проснулась ненависть к «собакам», а в Шемси к «гяурам».

А Саней... Набежала на мою серебристую луну темная туча, а я не успел разглядеть ее, налюбоваться ею...

Саней проходила мимо наших дверей, вся словно закутанная в фиалковое облако, и мои глаза силились проникнуть сквозь ее чадру в звездные тайники неведомого мира.

* * *

Каждое утро и каждый вечер смотрит на меня из-за решетки окна чей-то глаз и неизвестная рука бросает мне под ноги цветок.

Зарешеченное окно — за несколько дверей от нас — принадлежит служителю культа, магометанину. По пятницам он здоровается только с магометанами и не отвечает на приветствия христиан.

Но и по пятницам та же рука, нежная, как утренний жасмин, роняет мне под ноги цветок.

Из окна, забранного решеткой, иногда доносится робкий смех, приглушенный крик радости.

Это — третья жена служителя культа, совсем еще юная, сидит дома, как птица в клетке.

Такая на душу легла тоска! Хочу увидеть ее, поговорить с ней.

Поднимаю с земли цветок, уношу домой и вдыхаю, вдыхаю его аромат. И передается мне от этого цветка незнаемая дрожь, неведомый трепет.

Служителю культа за шестьдесят, он горбатый, злой, желтоглазый, бреет худое скуластое лицо, холит бородку, красит ее хной. Выходя из дому, каждый раз наказывает своим старшим женам — глаз не сводить с Бахреи, не подпускать ее к окну.

Но Бахреи, захваченной весной, удастся, улучив момент, подойти к окну и даже высунуть руку и бросить цветок.

А как-то раз она мне шепнула:

— Завтра сойди в сад, старухи уйдут.

Этот голос пробудил во мне мужчину...

Я слышал слова Бахреи и пошел своей дорогой, но готов был поклясться, что она вырвала у меня сердце и унесла с собой за решетку. Я ушел, но голос ее все еще звучал в моих ушах.

Остановился я в тени какого-то дерева, посмотрел на узорные блики солнца на земле — увидел Бахреи, вслушался в шелест листвы — услышал Бахреи:

— Завтра сойди в сад...

Ночью поднялся на крышу дома, луна была прямо над крышей. Луна ли? Нет, лицо Бахреи — улыбающееся, с большими черными глазами.

Утром забрался на стену нашего сада, спрыгнул в, соседский, весть вымок в росе, а до Бахреи еще три сада...

И вот я там, куда звала меня она.

Я под цветущим гранатом, поодаль — куст сирени, он заслоняет меня, по Бахреи уже бежит, бежит ко мне. Подбежала, запыхалась. Обнял я ее, опьянел от ее запаха...

— Пошли, — говорит, — пошли в дом.

Служитель культа отправился чуть свет с двумя женами в Старый город, там шел суд из-за наследства. Заперли входную дверь: уверенные, что Бахреи из дому не выйти.

Взяв за руки, Бахреи повела меня в спальню. Обнимает, плачет, улыбается, целует... Страх и восторг овладели мной. Бахреи — первая моя женщина... И вдруг она заплакала.

— Вечером они вернутся.

Я попрощался с Бахреи у цветущего граната, сорвал ой красный цветок и долго целовал ей руки.

Спрыгнув со стены сада, я расстался с первой в моей жизни женщиной.

Расстался навсегда.

* * *

На следующий день я встретил Веронику — двоюродную сестру Христины. Вероника была небесным созданием: светлоглазая, легкая, как лань. Каждый

раз при встрече с Вероникой душа моя рвалась к ней, но теперь, теперь мою душу покрывала краска стыда.

Я взял ее за руки и вдруг заплакал. Хочу открыться ей, но не могу — сам стою перед закрытыми дверьми своей души.

— Что-нибудь с мамой? — спрашиваем Вероника.

— Нет, мама здорова.

Конечно, она никак не может догадаться о случившемся. Она еще не сошла с голубых холмов невинности, и ей еще не понять моего преступления. Вероника никогда, никогда не могла представить себе, что какая-то женщина, позабыв стыд, дала мне ключ к свято хранимым сокровищам своего тела.

Уходим в глубь сада. Под ногами шуршит трава, с деревьев свисают плоды. Решаю: как дойдем до тутовника, признаюсь в своем преступлении. Но Вероника начинает вдруг прыгать и кричать: «Лови меня!» Бегу за ней, не очень-то о стараюсь поймать ее, ловлю наконец, и... наши губы сливаются в поцелуе. Пока мы целуемся, листья на деревьях бьют в ладоши, а плоды рассыпают золотой звон.

— Верон...

Оборачиваемся. Это Христина. Она дрожит всем телом. Еле шевелит губами:

— Бено может прийти.

— И пусть приходит, — говорит Вероника и, вскинув руки, срывает с ветки плод.

Бено — брат Вероники и мой однокашник. И вовсе не от страха дрожит Христиана: она дрожит от того, что увидела, как мы целовались.

И Бено пришел. Мы вместе взобрались на тутовник. Солнце высушило тугу, и она стала еще слаще.

...Померк бирюзовый купол неба и над головой Вероники: подул смертоносный ветер пустыни, тело ее замело песком...

Только ранняя звезда уронила несколько слез, и над ней опустилась кровавая ночь.

* * *

Утро. Серое, мрачное небо, всю ночь сыпал снег, и земля покрыта белыми лилиями.

Зажав под мышкой сумку, выбегаю из дому, — спешу в школу. Собаки приветствуют мое утро.

Вижу — люди идут быстро, молча, заняты своими мыслями. На углу улицы стоит женщина, в глазах ее то же молчание, молчание бездонное, бескрайнее. И такое вокруг царит безмолвие, точно снег — не снег, а саван. Инстинктивно чувствую что-то неладное. В меня вселяется страх, страх этот растет с каждым моим шагом.

Таинственно задерживается занавеска в одном окне, словно там не хотят впускать к себе свет наступающего дня. Кто-то открывает дверь, испуганными глазами оглядывает сверху вниз улицу.

Встречаю Григора-агу. Человек он медлительный, но тоже спешит.

— Ты куда? — спрашивает.

— В школу.

Хочет сказать еще что-то, по, махнув рукой, проходит. Кажется, бежит этот медлительный, как вол, человек, кажется, убегает от надвигающейся беды.

Со стороны большой городской площади идет группа съездившихся людей.

Быстро проносятся мимо меня и они.

Почти все магазины на замке. Хотя не воскресенье и не пятница. Заглядываю в окна через закрытые ставни первых этажей. Вижу — люди забились в углы, сжались, молчат, только курят. Вот один поднял глаза на меня, улыбнулся сочувственно.

Чем ближе подхожу к большой площади, тем напряженной тишина на улицах.

Выскакивает из дверей женщина, непричесанная, в ночном халате, хватая мальчугана, волочит его в дом и запирает дверь.

Выхожу на площадь.

На белой-белой ее глади — черное пятно, вокруг него стоят четыре солдата с поблескивающими штыками. Один за другим подходят к этому пятну объятые ужасом люди, останавливаются, закрывают глаза и молча отходят.

Подхожу.

Вижу — лежит человеческая голова. На снегу — кровь, застывшая, запекшаяся. Поворачиваюсь, — распластавши руки, лежит в снегу человек без головы.

Замираю, стою как вкопанный. Один из солдат приказывает:

— Убирайся!

Отхожу.

...В тот день на рассвете султанская тирания обезглавила двух революционеров. Одного здесь, другого — на Верхней площади.

Впервые открылось мне истинное лицо жестокого деспотизма, ужасное лицо.

Мне горестно, на душе тяжело.

Хочу уже домой повернуть, и вдруг — крики, топот ног, шум. Это толпа. Бегу.

— Фуад-бей! Фуад-бей!..

Фуад-бой — турок. У него красиво посаженная голова, мечтательные глаза, открытый лоб, одет в черкеску. Фуад-бей один их тех высланных из Константинополя смельчаков, которые заявили протест против зверской расправы над революционерами.

Вот он поднялся на высокий каменный приступок какого-то магазина, вот он заговорил, обращаясь к собравшейся толпе. И уже нет мечтательных глаз: глаза его мечут искры гнева, и весь он исполнен благородной ярости. Он сиял папаху, белокурые волосы ниспадают на широкий лоб. С трудом улавливаю отдельные его слова... Но тут на Фуад-бея налетают полицейские, связывают ему руки, волокут куда-то.

Толпа в ужасе рассыпается.

И слова — безмолвие, тяжелое, давящее.

Возвращаюсь домой. Занавески на окнах задернуты.

Никто — ни слова.

Обнимаю мать.

Она молча гладит меня по голове.

Крикнуть бы! Но я скован безмолвием. Город — точно большая могила.

Отрубленные головы... Но ведь только овцам головы отрубают?

Кто же обезглавил тех двух?..

— Ахмед Чавуш, Ахвед Чавуш... — передают шепотом.

И Ахмед Чавуш становится в моих глазах чудовищем, чудовищем из легенды, которого я никогда не видел и не мог даже себе представить.

* * *

В одну дождливую ночь не стало инспектора нашей школы, Акопа Симоняна, — его зарезали.

Наутро весть с молниеносной быстротой облетела город. Турки зарезали Акопа Симоняна! Турки — собаки!.. Возмущение охватило весь город. Армяне проклинали турок, их веру, Магомета, и то здесь, то там вспыхивали столкновения.

Весь день заседало собрание, было предложено телеграфировать о злодеянии в Константинополь, патриарху. Город наводнили солдаты. Вооруженные блюстители порядка начали арестовывать прохожих, причем только армян. Многие, чтобы избежать ареста, выходя из дому, обматывали фески белой повязкой. Так их не задерживали, пропускали, принимая за священнослужителей. К вечеру город наводнили «муллы».

Этот кошмар продолжался три дня.

Родственники инспектора школы не имели возможности похоронить покойника.

Погребение состоялось через три дня. Только на один день, чтобы принять участие в похоронах, арестованные были выпущены. Перед домом Акопа Симоняна собрались тысячи армян.

Тело предали земле.

С кладбища возвращались, опустив головы, и все выглядели пристыженными.

Почему?

Выяснилось, что зарезал Акопа Симоняна вовсе и не турок, а молодой армянин, учитель, к тому же питомец самого инспектора.

Почему учитель убил Акопа Симоняна? (Убийцу звали Оником.)

Была у Акопа Снмоняна родственница, красивая девушка, которую Оник любил. Родители девушки пришли однажды к инспектору, чтобы узнать, какого он мнения о бывшем своем ученике.

— Болван и сумасброд, — ответил им инспектор.

Родители передали дочери мнение родича-инспектора как самого уважаемого в городе человека. Дочь же, в свою очередь, рассказала об этом Онику. И вот Оник, болван и сумасброд, в полночь догнал инспектора у самого его дома и свел с ним счеты. Следовательно, турки никакого отношения не имели к этому убийству. Пристыженные армяне умолкли, но турки затаили злобу.

Через месяц после этих событий жену одного из «ярых» турок Ахмеда Чавуша нашли удушенной в постели.

Ахмед Чавуш был глашатаем. Он оглашал важные правительственные указы. Делал он это с превеликим удовольствием. Его хриплый, но высокий голос наводил ужас. Оглашаемые им указы всегда оканчивались жестокими словами: «...за непослушание — виселица!»

И вдруг в полночь в нашем квартале раздался голос Ахмеда Чавуша: «Армяне задушили мою жену и скрылись...» Голос доносился с крыши дома самого глашатая. Ахмед Чавуш не кричал, а вопил, нет, выл, как зверь, воздевал руки к небу и сжимал кулаки. «Армяне задушили мою жену и скрылись...»

Весь квартал всполошился. Проснувшиеся замерли в ожидании — утром быть беде...

Но беда не стала ждать утра, она нагрянула в полночь. Дом Ахмеда Чавуша был полон полицейскими, и вот что рассказал Ахмед Чавуш полицейским.

Армяне ворвались к нему в дом, связали ему, Ахмеду Чавутну, руки, заткнули ватой рот, потом кинулись к его, Ахмеда Чавуша, жене и задушили ее...

Даже армяне поверили этому: дескать, кровь за кровь. Много месяцев назад ятаганом мясника Ахмед Чавуш публично обезглавил двух армян-революционеров, а потом захватил пригоршней кровь, смочил бороду и в двух шагах от обезглавленных опустился на колени и помолился аллаху. Ахмед был единственным человеком, согласившимся тогда быть палачом.

С полночи до самого рассвета шли аресты армян. Утром тюрьма была переполнена. По дороге в тюрьму избивали арестованных, издевались над ними.

А дело было вот как. За несколько часов до того как произошло убийство, Чавуш сказал жене, что едет в деревню (ездил он туда часто), и пошел на базар нанимать коня. Конюх обещал, но заставил ждать. Прождав до полуночи, раздосадованный, он вернулся домой. А дома застал жену в объятиях молодого турка. Взбешенный Чавуш задушил их обоих. Труп любовника жены он бросил в колодец, затем полез на крышу и завопил: «Армяне задушили мою жену и скрылись...»

Труп убитого парня был обнаружен в колодце, и Ахмеда Чавуша арестовали. Родители молодого турка были люди богатые и влиятельные, потребовали суровой кары. Чавуша сослали в Копью, без права возвращения.

Арестованных армян выпустили, но не всех сразу, а по одному, и даже в самый последний день все еще допрашивали по делу Ахмеда Чавуша.

* * *

Подходит к лавочнику армянин у турок и, облюбовав товар, спрашивается о цене.

— Аршин — десять курушей, — отвечает лавочник.

— Отдай за пять.

— Не могу, сам за восемь курушей курил.

Турок требует: «Отдай!» Армянин не отдает, и турок уходит, полный ненависти.

Проходит день-другой, и поднимается на улице переполох — турки избивают какого-то армянина.

Выясняется, что бьют того само то лавочника, с которым турок не сторговался.

— Отдашь за пять курушей, гяур? — кричит турок.

— Не отдам!

— Диниме сёйди... На помощь! Он нашу веру осквернил!

Вот толпа и набросилась на лавочника-армянина, избивает его, а он на каждый удар отвечает:

— За пять курушей не отдам, лучше даром берите...

Никто не спрашивает, какая связь между этими словами и магометанской святыней.

* * *

Случалось и так.

Несколько человек армяк останавливали в безлюдном месте турка: «Попался, собака», — и давай издеваться над ним. Они оскорбляли турка, турок — их.

— Ну, больше ты так отвечать не будешь, гадина! Убивали, бросали в яму и уходили.

Через день-два полицейские находили труп убитого турка, и начинались аресты.

* * *

У ювелира Тиграна был сад неподалеку от городской бойни. Однажды в полдень зашел к нему турок с корзиной, попросил винограда. Тигран отказал ему, но вмешалась мать:

— Дай, а то врага наживешь.

Тигран дал ему винограда, но не полную корзину. Турок потребовал наполнить ее доверху.

— Не подымешь, тяжела будет, — сказал Тигран раздраженно, давая тем самым понять, что торг считает закопченным.

Турок уперся, — нет, наполни доверху. Мать снова вмешалась, но Тигран озлился и отказал:

— Хватит, и так вот сколько даром уносит.

Они сцепились.

Тигран был худ и щеделушен, а турок силен и широк в плечах. Тигран остался при синяках да с выбитым зубом в придачу. Никто из очевидцев не заступился.

— С собакой лучше не связываться, — говорили они.

Спустя пять дней Тиграна вызвали в суд.

Я тоже пошел послушать и посмотреть разбирательство этого дела, несмотря на запрещение матери ходить в подобные места.

Турок явился в суд, обмотав голову белым платком. Он заявил, что Тигран ударил его камнем и рассек ему голову, представил суду справку — врачебное свидетельство об увечий. Тиграну дали два месяца и, избивая, потащили в тюрьму.

Тигран только одно просил, обращаясь к суду:

— Развяжите ему голову, проверьте, есть ли рана....

Суд нашел достаточной и справку врача.

Когда Тиграна увели в тюрьму и мы вышли из зала суда, я собственными глазами видел, как турок, сделав несколько шагов, с невозмутимым видом размотал платок и сунул его в карман, — никакой раны, даже царапины на его голове не было.

Однажды днем обрушилось на нас страшное известие, — армянин-цирюльник перерезал глотку своему клиенту.

Весть с молниеносной быстротой облетела город. Все поспешили закрыть магазины и укрыться в домах. За четверть часа городской базар принял воскресный вид: совершенно опустел.

Оказывается, цирюльник брил турка, когда к нему зашел знакомый армянин и шепнул на ухо:

— Такое на улице творится: все перемешалось — турки, армяне. Что ты тут делаешь?

То была лишь шутка.

Цирюльник же решил, что началась резня, а значит, незачем упускать момент — в кресле дремал турок, — и, не долго думая, перерезал ему горло. Затем с бритвой бросился на улицу, чтобы присоединиться к толпе. Мирная тишина улицы огорошила его. В ужасе от содеянного он вскочил на коня и умчался прочь из города. Вечером полицейские волокли его жену в тюрьму, били и требовали, чтобы она сказала, где скрывается со муж.

* * *

Провозглашена османская конституция. Поцелуи, объятия, излияния, уверения в любви, в братстве.

Отворили ворота тюрем, выпустили политических заключенных, среди них и двух моих учителей.

Перед зданием правительства состоялся митинг свободы, выступили турецкие революционеры, говорили о Канун Эсаси. Я впервые видел турок-революционеров. Мне говорили, что турки революционерами не бывают.

Возвращался я с этого митинга усталый, весь в пыли, голодный, но радостно возбужденный.

На одной улице повстречался мне Шемси.

Давно мы с ним не виделись. Он обозвал моего отца гяуром, я его отца — итом. Тут уж были оскорблены наши родители, и мы с Шемси поссорились. Лично я не мог не поссориться с Шемси еще и потому, что, когда он обозвал моего отца гяуром, тот уже был в могиле...

Шемси взглянул на меня краешком глаз.

Я тоже.

Я улыбнулся.

Он тоже.

Не могу рассказать, как наши ноги понесли нас навстречу друг другу и мы обнялись.

Шемси затащил меня к себе. Чужим показался мне их старый дом. Он провел меня в комнаты, поправ гаремные обычаи их дома. Я поцеловал руку его матери, обернулся и увидел Саней. Она улыбнулась. Руки наши встретились. Давно не видел я Саней без ее фиолетового облака. В ней немного, совсем немного стало меньше воздушности.

Я крепко сжал ей руку, она зарделась и что-то шепнула, поворачиваясь к матери. И столько женственного было в этом шепотке, что я тотчас представил ее купающейся в бассейне, представил, как вода бассейна впитывает в себя солнечное тепло ее тела.

* * *

Поцелуи и объятия после провозглашения конституции не помогли, потому что уже через несколько дней «мудрейшие» из армян стали шептаться:

— Как бы нас не обманули.

«Мудрейшие» из турок тоже не отставали:

— Будьте начеку, армяне хотят овладеть нашей страной и искоренить нашу веру.

Время пыталось все повернуть вспять.

* * *

Еще в детстве знали мы такую игру: «армянин и турок». Игра была простая: набросав кучу камней и назвав ее крепостью, мы делились на две группы, в одной — армяне, в другой — турки, и начинали брать крепость.

— Эй, турки прорвались!..

— Армяне подходят к крепости, дай им по башке!..

И это считалось невинной игрой.

Развлекались мы таким образом до самой империалистической войны.

А в ней, в империалистической войне, была сыграна, собственно, та же игра, с той только разницей, что теперь стороны представляли настоящие армяне и настоящие турки и играли они всерьез, на настоящей земле, сжигаемые ненавистью друг к другу.

Никто, ровным счетом никто не говорил нам в детстве: бросьте эту игру. Мы играли, а взрослые усатые люди, снискавшие себе славу людей серьезных и мудрых, смотрели на нас и улыбались.

Каждый раз перед началом игры вставала перед нами понятная трудность: никто не хотел быть «турком». Приходилось тянуть жребий, кто вытягивал «армянина» — ликовал, а кто «турка» — вешал нос.

Да, мы росли в такой атмосфере.

И грядущим поколениям расскажут удивительную сказку:

«Жил да был на свете немногочисленный древний народ, и земля его простиралась от моря Ванского до моря Средиземного и от Багдада до Византии. Был он землепашцем-бедняком, ремесленником, интеллигентом,

торговцем, помещиком, банкиром, большим государственным чиновником, дворником, слугой, рабом и прочим. Пламенно любили этот народ его богатые сородичи, жившие за границей, питали к нему искреннюю любовь и министры западных правительств, потому что была у этого народа высокая культура, которую они распространяли по всему Востоку. Движимые пламенной любовью, министры и сородичи толкали этот народ на войну с его соседями — народами другой веры, крови и культуры, — который, однако, значительно превосходил их численностью и оружием. И грянула ужасная война. Весь мир потонул в пороховом дыму, потекли реки крови. И крикнули на ухо этому древнему народу западные министры и богатые его родичи: „Пробил час освобождения, бей своего соседа,хвати по его полумесяцу крестом своим“. Черные, красивые глаза этого древнего народа блестят, жаждут свободы, и начинается неравный бой: крошат, бьют, и от народа этого остается горстка людей — как печальная память о кошмаре. А после битвы с наглым цинизмом смеялись над костями и пепелищем министры и богатые родичи.

С неба упало три яблока...»

17

Было в той стране, где мы родились, поколение детей, которое выросло позади бань, на неостывших кучах золы.

На языке турок это было поколение кюльхан беев — князей зольных куч, — ни у кого из них не было отца, как у Христа из Назарета, родившегося за тысячу девятьсот тридцать лет до нас, потому что в наш век не сыскался бы святой Иосиф, готовый взять в жены деву с младенцем на руках. «Святые девы» оставляли своих младенцев, едва поднявшихся на ноги, среди куч золы, позади бань, и те росли себе без Иосифов и без матерей.

Зимой они разгребали золу, зарывались в нее, спасаясь от жестокой стужи.

Князья зольных куч жили впроголодь, полуголые, слонялись вокруг мечетей, хватая оплеухи.

Питались они на помойках объедками арбузов, дынь, всякими очистками, — кто был посильнее, добывал более вкусную еду: один из лап бездомной кошки

кусочек мяса вырвет, другой — баранью голову из мясной лавки стащит, третий — яйцо на каком-нибудь базаре...

В полдень князья сходились за казармой, — туда солдаты сливали остатки хараваны. Случалось, что нападали на телеги крестьян, привозивших в город продукты. Избиваемые в кровь, разживались зерном или мукой. Особенно дружно бросались на телеги, груженные сахарной свеклой, потому что могли испечь ее в свежесыпанной золе.

Не было никакой организации — государственной, религиозной, общественной или благотворительной, которая заботилась бы об этих несчастных.

Своих покойников они хоронили сами, чуть поодаль от зольных куч, разбивая друг другу головы при разделе лохмотьев.

Раз в год хозяева бань, согласно закону, убирали все зольные кучи. В дни таких расчисток рабочие натыкались не на один десяток трупов.

* * *

Один из князей зольных куч был Али, красивый, высокий, хорошо сложенный и сильный малый.

Али исполнилось двадцать пять лет, когда отец мой поставил его сторожем в нашу усадьбу. Князья зольных куч частенько наведывались в нашу усадьбу, но со вступлением Али в новую должность набеги их прекратились. Али сам снабжал свою ораву фруктами и овощами, не злоупотребляя, однако, доверием отца.

Отец был доволен им. Усадьбу таким образом уберегли от разорения.

Али был человек верный, честный и смелый. В драке он брал верх даже над полицейскими.

Поступив к нам на службу, он сразу же сменил одежду, выкупался (третий раз в жизни), побрился, постригся, повязался широким длинным зеленым поясом, заткнул за пояс нож и взял в руки длинную и толстую, как посох, палку.

Но люди все равно не забывали о его прошлом и при каждом удобном случае бросали ему в лицо презрительное:

— Кюльхан бей...

Как-то пришел Али к моему отцу, смущенно стал перед ним и сказал:

— Хаджи-эфенди, думаю в другой город податься, здесь все знают, что я кюльхан бей.

И грубый этот человек, никогда в жизни не плакавший, вдруг зарыдал.

— Не обращай внимания, Али, — сказал отец, — через несколько лет все забудут, что ты был кюльхан бей, ты станешь человеком... — и вложил ему в руку несколько серебряных меджидов.

Али денег у себя не держал, все, что дарил ему отец, он отдавал на хранение старой моей тете. Никаких потребностей, кроме как поесть и одеться, у него не было: ел у нас, носил купленную отцом чуху, а тетя снабжала его табаком из трапезундских запасов отца.

Али заботился о бывших друзьях. Кого определит в слуги, благодаря знакомствам, приобретенным в нашем доме, кого в кучера, нескольких пристроил к лошадям. Старался помочь даже тем, кто удирал в горы разбойничать.

Поговаривали, что эти бандиты спускаются иногда с гор и навещают Али в нашем имении, но мы в это не верили.

Городские власти несколько раз тайно засылали к нашей усадьбе полицейских, чтобы изловить бандитов, дружков Али. Но куда там! Ведь достаточно было малейшего знака на воротах, чтобы они прошли мимо. Ну а раз уж спустились с гор — с пустыми руками не любили уходить: грабили первого встречного и удирали.

Мать все опасалась, что отец когда-нибудь нарвется на них.

— Пораньше возвращайся из усадьбы, смотри, ограбят тебя, часы и деньги оставляй дома.

— Да будет тебе, жена, — отвечал отец, — они этого не сделают.

Но они так и сделали: отец однажды вернулся домой ограбленным. Мать напомнила, что предостерегала его..

— Темно было, даже по голосу не узнали меня.

— Так тебе и поверила я.

— Узнали бы — не стали трогать.

В полночь отец послал за Али.

Тот влетел, запыхавшись. Отец рассказал ему, как было дело. Али помрачнел, вышел, не проронив ни слова.

Утром чуть свет неизвестно кто бросил в окно спальни отца часы, пальто и деньги.

К полудню Али зашел к отцу, потупив глаза.

— Хаджи-эфенди, они не признали вас, — сказал он.

— Голодные люди, — ответил отец, — не осуждаю.

Как-то Али явился к отцу, явно одолеваемый какими-то мучительными мыслями. Вид у него был такой, точно он хотел сообщить отцу что-то важное, но не решался.

— В чем дело, Али? — спросил отец.

— Хаджи-эфенди, хочу сказать что-то, да боюсь, засмеете еще.

— Говори, не стесняйся, смешно будет — посмеемся, чего мнешься?

— Хаджи-эфенди, решил босиком до Мекки дойти, стать хаджи и вернуться.

Обетом связал себя.

— Хорошее дело задумал, Али. Только зачем босиком?

— Чтобы заветное мое желание непременно исполнилось..

— Ну что ж, доброго тебе пути, — заключил отец.

Али еще что-то хотел сказать. По-видимому, именно то, что его с самого начала смущало.

— Хаджи-эфенди, да буду я прахом у ног твоих... — взмолился Али.

Отец понял.

— Говори, Али, я тебе многим обязан.

— Хаджи-эфенди, дал бы ты мне два золотых, ведь в дороге все может случиться.

— Двух золотых не хватит, — сказал отец, — я тебе дам пятнадцать.

Али нагнулся и поцеловал край его халата.

В тот же день он объявил о своем намерении. По исламскому обычаю, единоверцы Али должны были проводить его в путь с подарками.

Утром, когда отец отсчитал и вложил в руку Али пятнадцать золотых, мать огорченно вздохнула, уязвленная в своих религиозных чувствах.

— Соберись армянин в Иерусалим, небось ничего не дал бы, — бросила она.

— Я свое дело знаю, — ответил отец, — пусть он только вернется, посмотришь, сколько заработаю!

Через несколько дней, когда Али пустился в путь, в лохмотьях, босой, с длинным сучковатым посохом, многие из его единоверцев вышли пожелать ему доброго пути. Однако подарков он не получил: его социальное происхождение помешало проявить религиозные чувства даже единоверцам. Али еще раз приложился к краю отцовской одежды и, гордо выпрямившись, решительно заявил:

— Хаджи-эфенди, я еще покажу, чего я стою!

Отец поцеловал его в лоб и, тайком вложив в руку еще один золотой, попросил:

— Будешь идти через Иерусалим, остановись у Акопова колодца, там Христос наш встретился с самаритянкой, и над тем колодцем за меня поставь свечку.

— Поставлю, и не одну, хаджи-эфенди, будь уверен.

И Али зашагал в Мекку.

* * *

Прошло два года. Али как в воду канул.

— Наверное, остался в каком-нибудь городе, на твои денежки открыл магазин, сколотил капитал и живет себе припеваючи, — говорили отцу.

Отец был непоколебим:

— Али вернется в конце концов, вот увидите.

Как-то из Мекки возвратились в наш город паломники. Отец пошел повидаться с ними.

— Я его встречал в Иерусалиме, — сказал один из них, — он еще не скоро будет, пешком ведь добирается.

Исламские паломники рассказывали о необыкновенном религиозном рвении, о мученичестве Али. Этой жертвой он должен был смыть свой «позор», всю «грязь» своего социального происхождения.

* * *

Через три года, в один прекрасный день, вдруг по всему городу расклеили яфты, извещающие о том, что возвращается из Мекки Али, босой, обессиленный и что долг каждого мусульманина встретить его и расспросить о рае, обещанном мусульманам.

Али, согласно молве, возвращался облагодетельствованный пророком. Великой этой милости удостоился он за то, что паломничество свое в Мекку совершил пешком, погружая босые ноги в раскаленный песок Аравийской пустыни.

Мусульманское население города, еще до возвращения Али, пожаловало ему титул — бей.

Каждый мусульманин готовился встретить Али-бея подарками.

Лето. В воздухе колышется полуденный зной, жестокое, безучастное ко всему живому солнце сжигает пшеничные поля. Толпа людей запрудила широкую пыльную дорогу.

Яркие восточные ковры, которыми устланы все дороги на протяжении двух-трех верст, посерели от пыли.

Вдали возникает точка. Постепенно увеличиваясь, превращается в человеческую фигуру. Это Али. На нем длиннополая зеленая аба, голова тоже в зеленой повязке, в руке — длинный сучковатый посох, грудь обнажена, обнажено и мужское достоинство его, на котором, милостью пророка, печать хаджи — та самая благодать, которой удостоился он за свое паломничество.

Народ обступил его. Слышно только прерывистое дыхание тысяч людей — каждый стремится как можно скорее приложиться к освященному пророком символу мужественности Али, прикоснуться к лохмотьям его и посоху, поднести или назвать ему свой дар: кто коня дарил босонотому избраннику пророка, кто часть своих поместий, кто целый магазин. Груды подношений —

шелка, серебро, золото, мебель, ковры, скатерти, постели, кровати, одежда — наконец погружены на фэтоны, и Али, сопровождаемый народом, запыленный, усталый, направляется в город.

На крышах толпы зевак, к зарешеченным окнам прильнули любопытные женщины.

Али безмолвен. Ступает медленно: изнеможен. Пыль и пот проложили борозды на лбу его.

Добравшись до городской мечети, он опускается на колени, целует истоптанный мраморный порог, молится, повернувшись лицом к югу, заходит в мечеть.

Потом его провожают в отведенный для него дворец, и там он просит дать ему отдохнуть.

В полночь Али присылает за своим отцом слугу.

Не успевает отец войти к Али, как тот вскакивает, бросается навстречу и обнимает его.

— Хаджи-эфенди, ты помог мне, и я сдержал свое слово. Теперь все знают, чего я стою.

Расставаясь с отцом, Али хочет вернуть ему деньги. Отец отказывается их принимать.

— Я во спасение своей души дал тебе денег.

Али заверяет отца, что при случае он ценою жизни поможет ему в трудный час.

Отец благодарит его.

* * *

Спустя месяц Али-бей открыл бакалейный магазин, в котором не было ни мер, ни весов, потому что он ничего не мерил и не взвешивал.

Али-бей восседал в своем магазине, обложенный шелковыми, парчовыми и атласными подушками, в зеленой абе, с аршинным мундштуком во рту и с зеленой повязкой на голове.

Увидит за витриной богача, пригласит войти:

— Что послать тебе домой?

Богач попросит послать что-нибудь из имеющегося в магазине товара и оставит на шелковой подушке несколько золотых.

Али-бей жил в невиданной роскоши, широко и привольно, пользуясь всеми благами мира.

Одну за другой взял он в жены восемь двенадцатилетних девушек.

Он хотел протянуть руку помощи своим бывшим друзьям, сбежавшим в горы после столкновений с полицией и убийств, обещал деньги, дом, магазин и свое покровительство. Но разбойники не захотели возвращаться в город.

Поднялся как-то переполох в городе. Али дал пощечину полицейскому, слывшему бешеным: полицейский избивал какого-то кюльхан бея. Сперва Али решил было пройти мимо, но крики кюльхан бея заставили его повернуть обратно и дать полицейскому затрещину.

— За кюльхан бея заступается, — шушукались по углам, не осмеливаясь выступить против избранника пророка.

Трижды в день князя зольных куч собирались перед домом Али-бея. Али садился у окна так, чтобы его не видели, и наблюдал, как слуги его раздавали им хлеб. «Князья» толкались, цапались из-за лишнего куска, вытеснили слабых. Слабых Али потом звал в дом, и каждый получал свою долю хлеба.

Как-то раз Али сказал моему отцу:

— Так хочется иногда зарыться в золу.

От шелков, красавиц и золота порой его тянуло к прежней жизни. Вдруг возьмет и прикажет одному из слуг повязаться красным грязным передником, чтобы походить на уличного хайфечи, и подать ему кофе... А выпив кофе, скажет: «Я это в кредит, денег нет».

Али получал огромное удовольствие от посещения этой воображаемой кофейни.

— Из грязи не выходят в князи, — говаривал отец.

По возвращении Али из Мекки отец с его помощью уладил немало дел: вернул себе когда-то несправедливо отобранные земли, вызволил из тюрьмы своих

друзей и родичей. Получил даже право на расширение армянского кладбища, А ведь это был вопрос, над которым билось целое поколение, по поводу которого делегация ездил в Константинополь к самому султану и вернулась ни с чем.

* * *

Был у нас сосед, голубей держал, звали его Акоп-голубятник.

Держать голубей считалось у нас самым унижительным занятием.

Старики говорили: «Голубь — тварь невинная, но в нем смерть».

Увидев на крыше голубя, мать в страхе крестилась:

— Голубь на крыше!..

В нашем городе, если кто хотел оскорбить человека, называл его голубятником.

В школе учитель закона божьего плевал в лицо ученику, не выучившему урока, и кричал:

— Урока не выучил, голубятник несчастный!

А на настоящего голубятника указывали пальцем, как на вора или преступника.

Не только за самих голубятников, но и за сыновей их родители не отдавали своих дочерей, а к дочерям — никто не сватался. Дознавались даже — не было ли в роду у парня или девушки «голубятников».

Если кто сообщал вдруг, что слышал, будто брат зятя деда девушки (или парня) голубей гонял, обручальное кольцо немедленно возвращалось.

Но мы, дети, любили голубей, а голубятники в наших глазах были настоящими героями.

Детям все эти предрассудки были непонятны.

В церкви миро капало из клюва золотой голубки.

Голубку славили как символ невинности во всех песнях.

Детство — это невинность.

И мы любили голубей.

Была у нас небольшая мраморная статуэтка: нагая, красивая девушка с голубкой на плече.

Отец привез ее из Стамбула. Стояла она в его комнате, на подставке из орехового дерева.

И как ни страшилась мать голубей, все хорошее она все-таки сравнивала именно с ними.

Когда у жены старшего брата родился ребенок, мать обнимала его, подбрасывала в воздух и приговаривала:

— Птенчик ты мой, голубочек.

Я радовался, когда мать все хорошее сравнивала с голубем, и очень огорчился, когда она крестилась, увидев голубку на крыше.

Мной владело одно желание — остаться без родителей, стать круглым сиротой, чтобы гонять голубей.

Я бредил этой мыслью.

Каждый день я поднимался на крышу — полюбоваться на голубей Акопа.

Поднимался украдкой, чтобы никто не заметил. Зазорным считалось любому из членов нашей семьи, даже мне — такому еще маленькому, — забираться на крышу, чтобы смотреть на голубей Акопа. Но я, движимый непреодолимым влечением, всегда оказывался на крыше и тайком наблюдал за ними.

Как они летели, как парили в чистом прозрачном небе!

Притаившись, я ждал, что хоть один из них опустится на нашу крышу, и я дотронусь до его крыла.

Мне и во сне снились голуби Акопа. Они садились мне на голову, плечи, руки, и я жадно вслушивался в их воркованье, я прыгал, плясал, по они улетали, я ласкал их, прижимал к груди, целовал, прятал за пазуху.

Я просыпался от мысли, что это сон — это тоже было во сне — и голуби кружили вокруг меня. Когда же я просыпался на самом деле, голубей не бывало. Слышалось только их воркованье. Или и это только чудилось мне?..

Я не мог понять, за что так презирают люди голубей, за что унижают и оскорбляют голубятников, и особенно Акопа.

* * *

Вечер. Солнце еще не закатилось за горы, легкий дождь освежил воздух.

Еще светло, тускло поблескивают окна.

Акоп поднялся на крышу, откинул дверку голубятни.

Веселым хороводом взмыли в небо птицы.

Много их, молочно-белых. Вот один уронил перышко, оно, кружась, упало на землю. Налетели ребятишки, подхватили его, вырывают друг у друга, — наконец кто половчее, украшает им шапку. Есть голуби с темно-синим отливом в белую крапинку, и еще — цвета дымного пламени, цвета последних лучей заката и багряно-красные, как осенний лист.

В воздухе молочно-белые теряются в светлых облаках, их трудно разглядеть, а когда тучи отливают свинцом, из поля зрения исчезают пепельные.

Вот парочка... Округлые грудки отливают зелеными тонами, по стоит им чуть повернуться, — зеленые исчезают, проступают фиолетовые.

Вот грациозно прохаживается по крыше стайка. Одни — коричневато-кофейного цвета, другие — белые, как сахар. Распускают хвосты, о чем-то воркуют, вертят головками, легкие, быстрые, живые.

Почему же голубь — это смерть? Я так и не сумел понять эту загадку.

Голубятники вечно враждовали. Стоило одному из них завидеть кувыркающуюся в воздухе птицу, как он тут же выпускал лучшего своего голубя: сманить «чужого» к себе.

Сманивать друг у друга голубей — в этом была вся прелесть их увлекательного дела.

Голубь обворожительная птица, но и его легко обворожить.

Любовь — самый сильный инстинкт этой птицы.

Согревшись на плоской крыше, когда солнечные лучи ласкают землю, они воркуют, резвятся, стучаются клювами, загоняют их себе в перья, захмелев от безумной любви.

Вот голубятник заметил, как с одной из крыш смело взмыла в небо голубка, красиво она парит... Фиолетово-зеленая ее грудка, переливаясь, сверкает в

лучах солнца. Голубятник тотчас выпускает бывалого самца, одержавшего немало побед на своем веку.

Самец летит, кувыркается в воздухе, кружится вокруг голубки, и так до тех пор, пока не заворочит, не завлечет, не заманит ее в свою голубятню.

Во время такого голубиного поединка голубятники с крыш подбадривают каждый своего голубя отчаянным свистом, криками.

Хозяин голубки, которую сманил чужой голубь, расстраивается до слез. Он чувствует себя втоптаным в грязь, оплеванным. Он предпочел бы сам опозориться на весь город, лишь бы голубя не увели.

Вражда переходила из поколения в поколение, страшная обида не забывалась. Бывало, что хозяин побежденного голубя, не в силах вынести подобного унижения, решал отомстить обидчику.

В ход пускался нож.

Сбегалась толпа, голубятники и любители голубей делились на два лагеря.

— Подло сманил мою голубку! — вопил пострадавший.

Какая подлость могла быть в любовной схватке двух невинных голубей, да еще в воздухе?

— Отдай мою голубку, не то!.. — угрожал ножом.

Хозяин голубя-победителя тоже доставал нож.

— Не получишь. А если ты мужчина — держись!

И начиналась поножовщина. Переполох, замешательство, плач детей, крики женщин — проливалась кровь.

Вот почему старики говорили, что голубь — тварь невинная, но в нем смерть.

Если в драке отступал хозяин побежденного голубя, — он месяцами не показывался на людях, запирался у себя дома, задергивал занавески на окнах.

— К жене под юбку забрался, — потешались его соперники.

А хозяин голубя-победителя уходил, задрав голову, надвинув феску на глаза кисточкой вперед: самая высокомерная и наглая манера носить феску. Уходил, никого не замечая, не глядя ни на кого.

И тем не менее голуби были моей страстью.

Что же общего между голубем и человеческой злобой? Голуби реют в небесах и не имеют никакого отношения к тому, что внизу люди пускают в ход ножи. Наш сосед, голубятник Акоп, был цирюльником. Ремеслу своему уделял он два-три часа в день, все остальное время проводил на крыше, гоня голубей. Хотя Акоп и считался хорошим, аккуратным брадобреем, клиентов у него было мало.

Мы, дети, часто околачивались у его цирюльни. Только Акоп залепит лицо клиента мыльной пеной, один нос да глаза оставит, только возьмется править бритву, — мы тут же заводим разговор о голубях.

— А ведь голубка Петроса — Чил — двух птенцов вывела, — говорит один из нас и заговорщически улыбается.

Делаем вид, что разговариваем между собой, но Акоп не выдерживает, подходит к нам:

— Где слышал? Кто сказал?

— Минас сказал.

— Быть не может.

— Ну да, так и сказал: двух птенцов.

— Врет этот Минас.

Клиент возмущается. Пузырьки пены лопаются у него на усах, наверно, щекочут нос.

— Слушай, ты будешь брить или нет?

— Потерпи немного, дело тут важное, — отвечает Акоп и продолжает разговор:

— Ну, не тяни, говори, кто тебе это сказал?

— Своими глазами видел.

Акоп озабочен. Ведь Чил голубятника Петроса привезли из Диарбекира, а диарбекирские голуби — лучшие во всей Малой Азии. И теперь у Петроса будет три «kozyря».

— Чил — птица знаменитая. Но слишком уж много говорят о ней, — пытается утешить себя Акоп.

Клиент выходит из себя:

— Сколько мне еще ждать?

Глаза Акопа бегают, клиент начинает беспокойно ерзать: а вдруг Акоп возьмет да полоснет бритвой по горлу.

— Чего тебе? — спокойно спрашивает Акоп, но в этом спокойствии еле сдерживаемый гнев.

Клиент опасливо косится и уже не сердится, а просит:

— Хочу вот, чтобы ты побрил.

Акоп хватая полотенце, вытирает ему лицо, и:

— Все, пошел!..

Клиент вскакивает с кресла, надевает феску и давай бог ноги.

— Побрить его! Делать мне, что ли, нечего? — бросает ему вслед с досадой Акоп.

Уходили и мы оставляя Акопа наедине с его думами. А он, скрутив сигарку, жадно затягивался, закрывал цирюльню и шел домой, всю дорогу глядя в небо: чьи там парят голуби.

Дома он поднимался на крышу и выпускал своих голубей: на Чил свет клином не сошелся...

Над головой Акопа хлопали голубиные крылья. На каждый хлопок он отвечал восторженным возгласом:

— Ах, умереть бы мне за вас!

* * *

Однажды у дверей Акопова дома объявился хозяин голубки, которую заманил как-то один из голубей Акопа. Его сопровождали дружки, почти все пострадавшие от голубей Акопа, — голубятники.

Он остановился у порога и крикнул:

— Выходи!

Жена Акопа, услышав этот крик и в маленькое окошко увидев собравшихся на улице голубятников, заломила худые бесцветные руки, выбежала во двор.

Акоп шел ей навстречу медленно, тяжело дыша, губы у него дрожали.

Жена бросилась ему в ноги.

— Не ходи!

Но Акоп отшвырнул жену в сторону.

— Я мужчина.

Он вошел в дом, молча направился к шкафу, ключ от которого хранился только у него. Как только он вставил ключ в замок — жена рухнула на каменный пол, потеряв сознание.

Акоп отпер шкаф, достал старый дедовский клинок, рванул из ножен, поцеловал холодную сталь, снова вложил в ножны и вышел. Дочери не было дома, жена осталась лежать на каменном полу.

Появление Акопа в дверях и выхваченный из ножен клинок возымели действие, — противники отступили, к тому же подоспели сторонники Акопа.

Через несколько минут Акоп вошел в дом, поднял все еще лежавшую в беспомощности жену, побрызгал на нее водой, а когда она пришла в себя, сказал:

— Ни капли мужества в тебе, хоть ты и моя жена.

* * *

Но жена Акопа боялась не столько ножа — насмотрелась она кровавых драк, много раз перевязывала мужу раны, — сколько того, что дочь ее, красивую девушку, никто замуж не возьмет.

Многие голубятники после женитьбы переставали гонять голубей. Что же касалось Акопа, — не было никакой надежды, что он когда-нибудь бросит это занятие и полностью отдастся своему ремеслу.

— Да оставь ты этих голубей, ради бога, — молила, упрашивала жена, — дочь у тебя растет, не век же ей дома сидеть, пожалел бы.

Акопа прямо-таки трясло, сводило судорогой от этих разговоров. Перед его мысленным взором вставали молочно-белые голуби, а рядом — бледноликая дочь с черными волосами, и душа его разрывалась от боли. Он мрачнел, разъярялся, иногда поднимал руку на жену, кричал:

— Ты опять за свое, хватит! Извела!

Порой он звал дочь, смотрел ей в черные, как арбузные семечки, глаза, сажал на колени и дрогнувшим голосом шептал:

— Девочка моя, чинара моя!..

В такие минуты слезы душили его, он поднимался на крышу, выпускал голубей и, когда они взмывали в чистое, прозрачное небо, забывал весь мир и его злые законы.

Не надолго ли?

— Дочь у тебя, или убей ее, или брось голубей, — снова начинала жена.

Но как он мог жить без своих голубей?

* * *

Шли годы, старился Акоп, но в душе все оставался ребенком.

Бывало, днями не заглядывал в цирюльню. Брил машинально, не отрывая глаз от окна.

Только заметит в небе голубя, бросается к дверям с бритвой в руке, в белом халате, позабыв о клиенте.

Шли годы. Дочь Акопа подросла, похорошела: волосы до пят, щеки как спелый гранат. И люди теперь сторонились не жены Акопа, а дочери.

— О господи, зачем ты дал мне дочь! О горе! — убивалась мать.

За дочку сватались, да все голубятники. А Акоп с женой поклялись ни в коем случае не выдавать дочь за голубятника.

Жена твердила:

— Брось своих голубей, довольно! Весь город дочь твою честит...

А что мог поделаться Акоп? Мог ли он заткнуть рот всему городу?

И он ругал всех и вся последними словами.

Но что толку? Разве руганью сотрешь с чела дочери позорное клеймо?

Между тем бедная девушка вынуждена была оставить школу, потому что даже учителя звали ее «голубятниковой дочкой». Стоило ей запнуться на уроке, как учитель ехидничал:

— Говорят, отец твой голубей гоняет, да?

Какое отношение имели голуби к ее занятиям?

Акоп думал, думал и нашел выход: отпустил бороду. Если у голубятника была борода, жену его или мать не ругали, обычно ругали бороду.

Вот Акоп и отпустил бороду.

Жена сначала не поняла, зачем ему эта борода понадобилась.

Даже посмеивалась над ним:

— Вот еще поп на мою голову!

Она по-прежнему твердила, что он должен пожертвовать голубями ради дочери.

— Ты что думаешь с дочкой делать? Мариновать будешь — как-то набросилась она на мужа.

— Хватит тебе пилить. Вот, отпустил бороду, чего тебе еще?..

Но одной бороды было недостаточно, чтобы люди оставили в покое его дочь.

Часто она прибегала домой в слезах.

— Что случилось, голубка моя? — спрашивал Акоп.

— Оскорбили меня...

Акоп хватался за бороду, вздыхал.

Денег в дом поступало все меньше и меньше. Акоп открывал свою цирюльню раза два-три в неделю, и то для случайных клиентов.

Положение было безвыходное, и Акоп решился на жертву: он продал за пять золотых лучшую пару своих голубей. Это стоило ему полжизни. Единственным утешением были птенцы, оставшиеся от этой пары. Когда Акоп, получив золотые, достал из-за пазухи голубей и отдал их новому владельцу, на глаза его навернулись слезы. И лишь сознание, что на пять золотых можно прожить целый год и, следовательно, не открывать постыльную цирюльню, его немного успокоило. Он утер слезы и направился домой.

Дома Акоп обнял дочь, приласкал:

— Голубка моя, белоснежная моя!..

Несколько раз уже Акоп решал распродать голубей, дом, имущество, уехать в другой город, даже в другую страну, чтобы люди не знали, что он был голубятником. Решал и сам ужасался этой мысли.

По ночам, во сне, ему чудилось, что какие-то страшные люди поднялись на его крышу, открыли дверку голубятни и уносят, уносят, уносят голубей.

— Не дам, не возьмете! — кричал он во сне и в ужасе просыпался, вскакивал как одержимый, босиком бежал на крышу, открывал дверку голубятни — успокаивался.

Наконец Акоп решил не продавать голубей, а зарезать их. Чтобы его голуби жили, летали, ворковали и... не принадлежали ему? Он не мог примириться с этой мыслью.

Судьба дочери мучила его.

Ах, как ему хотелось, чтобы ее не было на свете, были только он — да голуби; вот это была бы райская жизнь!

Как-то под вечер Акоп поднялся на крышу. Давно уже не выпускал он голубей. Лицо его было страшное, страшнее, чем когда он хватал клинок и выходил на улицу драться.

Дочь бросилась к матери. Обняла ее, зарыдала.

— Что плачешь? Опять обругали?

Дочь еле выговорила:

— Отец...

Мать бросилась на крышу. А Акоп уже открыл дверку, и голуби вылетели.

Голуби кувыркались в воздухе. Потом спускались на крышу, садились на плечи хозяину — соскучились, что ли?

Акоп, стоя, долго глядел на уходящее за дальние горы солнце, потом снял феску, поймал подлетевшего к нему голубя, достал нож...

Отшвырнул голубиную головку. Кровь брызнула ему на грудь, на белую рубаху.

Акоп поймал второго голубя, но руки ослабели, нож выпал.

Взбежавшая в этот момент на крышу жена увидела окровавленный нож, всего в крови мужа, его застывшие в ужасе глаза, подумала, что Акоп наложил на себя руки...

Взбежала на крышу и дочь, заметалась между отцом и матерью.

Я услышал крик жены Акопа и взобрался на нашу крышу. Сбежались соседи.
Нам всем казалось, что Акоп бьет жену, и дочь пытается спасти мать.

— Вай, чтоб твоей дочери...

А голубятник, в слезах прижав единственную дочь к обагренной голубиной кровью груди, шептал:

— Голубка моя белоснежная... Всех красавцев моих принесу тебе в жертву...

И заплакал этот ребенок о поседевшей головой.

* * *

В последний раз направляюсь к кладбищу проститься с могилой отца.

Как вырос тутовник, посаженный у его могилы!

Отец... Он стоит передо мною во весь свой огромный рост. Печальный, печальный, как одинокое дерево в пустынной долине.

Смотрю на тутовник, его корни протягиваются к тебе, отец.

Каждая ягода тутовника налита сладостью сердца твоего.

Тутовник — это ты, разветвленный и зазеленевший. Ветер поет в его листве.

Нет, ты не слышишь эту песню, а сам поешь ее своими ветвями. Тень тутовника обнимает меня, это руки твои, отец, обнимают меня.

Я вслушиваюсь в песню ветра с тоской в сердце, с тоской думаю о тебе. Это — песня твоей крови, та самая песня, которую поет солнце, поет каждая травинка, каждый серебряный луч луны.

Песня, нескончаемая песня, что льется с неба, звучит в листве и вновь возносится в небо.

Целую могилу, обнимаю ствол тутовника, как обнимал когда-то тебя.

Ветер поет, шелестят листья тутовника. Бесконечная песнь, бесконечная жизнь, бесконечная грусть и бесконечная радость...

В последний раз открывается город моему взору, как золотое дерево в объятиях синих гор.

Экипаж катит по старой римской дороге к морю, к Византии и Риму.

Утро. Копыта лошадей высекают искры. Ночь. Лошади жуют, а мы, утомленные, смотрим на звезды, и веки наши смежаются.

В одно прекрасное утро я увидел море. Где кончалось оно и где начиналось небо?

Море... Вспоминаю с гордостью, что отец говорил обо мне: «Глаза у сыночка моего, как море, синие...»

Еще две ночи, и я буду в Константинополе, в городе моей мечты.

Мне хотелось, чтобы Константинополь оказался таким, каким я его представлял. Я не хотел, чтобы он превосходил мои ожидания, ибо я стремился к своей мечте.

* * *

В той древней стране, где я рою, солнце горит, как раскаленный шар, ручьи журчат, не переводя дыхания, встают светозарные утра и опускаются огнекрылые закаты, в синем небе плывет серебряная чаша, полная свеженадоенного молока, деревья устремляются в небо, тихо шепчутся цветы. Теперь я хотел бы отдохнуть, склонить свою усталую голову на синий мрамор тех небес и услышать песню, которой внемлют деревья, ручьи и звезды.

Ссылки

- [1] Хаджи-эфенди — уважаемый господин (турец.).
- [2] Карас — кувшин большой емкости (арм.).
- [3] Ханум — госпожа.
- [4] Пандухт — скиталец (арм.).
- [5] Оха — турецкая мера веса, равная 1 кг 225 г.
- [6] Дрем — одна четырехсотая часть охи, или 3,06 г.
- [7] Ханум-хатун — полновластная, всеми уважаемая хозяйка, госпожа.
- [8] Нарды — восточная игра.
- [9] Полис — сокращенное название Константинополя.
- [10] Скутарийский холм — возвышенная часть Константинополя.
- [11] Бояджи-гюх — название местечка.
- [12] Хаш — восточное блюдо.
- [13] Хавза — город в Малой Азии.

- [14] Чусты — тапочки, чувяки.
- [15] Пахлава — восточное кондитерское изделие.
- [16] Кишмиш — сушеный виноград, изюм.
- [17] Месроп Маштоц — в V веке создал армянский алфавит.
- [18] Грабар — древнеармянский язык, полуграбар — здесь западно-армянский, смешанный с грабаром.
- [19] То есть ее отдали в наложницы.
- [20] Парон варжапет — господин учитель (арм.).
- [21] Зурна — восточный музыкальный инструмент.
- [22] Караванбаши — вожатый каравана.
- [23] Аба — грубошерстная накидка, верхняя одежда (арабск.).
- [24] Дэв — сказочный злой исполин.
- [25] Парон — господин.
- [26] Петрос Дурьян (1852–1872) — армянский поэт, лирик.
- [27] Мисак Мецаренц (1885–1908) — армянский поэт, лирик.
- [28] «Радуга» — первый сборник стихов Мецаренца.
- [29] Гяур — неверный, нечестивый (турец.).
- [30] Ит — собака (турец.).
- [31] Обругал мою веру (турец.).
- [32] Канун Эсаси — конституция (турец.).
- [33] Харавана — солдатская похлебка.
- [34] Яфта — объявление, афиша (турец.).